

СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

№

ISSN 0132-1355

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

СЛАВЯНО ·  
· ВЕДЕНИЕ



журналу

40

лет



«НАУКА»

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

# Славяноведение

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1965 г.

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

Журнал издается под руководством  
Отделения историко-филологических наук РАН

1  
2005  
ЯНВАРЬ •  
ФЕВРАЛЬ •

## Содержание

### СТАТЬИ

- Виноградов В.Н.* (Москва). Являлась ли Крымская война для союзников “достойной сожаления глупостью”? ..... 3
- Дуличенко А.Д.* (Тарту). Карпатские русины сегодня: некоторые этнолингвистические аспекты ..... 20

### СООБЩЕНИЯ

- Марней Л.П.* (Москва). Особенности торговой политики России и Королевства Польского в 20-е годы XIX века ..... 30
- Липтеева Л.П.* (Москва). Связи И.С. Аксакова с западнославянскими учеными (по данным переписки)..... 44
- Жук И.В.* (Гродно). Инвариантность начал: из наблюдений над метрическим фактором белорусской прозы начала XX столетия..... 51
- Савельева А.А.* (Москва). Проблема автотематизма в романе Кароля Ижиковского “Химера” ..... 60
- Желицки Б.Й., Желицки Ч.Б.* (Москва). Новый венгерский центр славистики и изучение историко-культурных проблем подкарпатских русин..... 67
- Ковтун Е.Н.* (Москва). Фундаментальный труд о литературах западных и южных славян.... 88

### ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

- Хаванова О.В.* Magyar leveleskönyv. I–II. köt. .... 95
- Задорожнюк Э.Г.* Foromovāni stalinskēho mocenskēho systēmu. K problēmu tzv. sebedestrukce bolševikū. 1928–1939 ..... 97
- Софронова Л.А.* История культур славянских народов ..... 100
- Герчикова И.А.* Словацкая литература: XX век ..... 104

<i>Колин А., Стыкалин А.С.</i> О заседании двусторонней комиссии историков России и Румынии .....	107
<i>Носов Б.В.</i> Конференция “Общественные движения в России и в Польше (до Второй мировой войны)” .....	114
<i>Серета В.Т.</i> Литературный процесс в странах Центральной и Юго-Восточной Европы на рубеже XX–XXI веков (“круглый стол” в Институте славяноведения РАН) .....	118
<i>Досталь М.Ю.</i> Юбилейные Абрамцевские чтения.....	123

*ЮБИЛЕИ*

К юбилею Григория Куприяновича Венедиктова .....	125
--	-----

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

**В.К. ВОЛКОВ** (главный редактор),  
**М.А. ВАСИЛЬЕВ, Г.К. ВЕНЕДИКТОВ,**  
**Р.П. ГРИШИНА, В.И. КОСИК, Г.Ф. МАТВЕЕВ,**  
**В.В. МОЧАЛОВА, С.В. НИКОЛЬСКИЙ, В.Я. ПЕТРУХИН,**  
**М.А. РОБИНСОН** (зам. главного редактора),  
**Л.А. СОФРОНОВА, Б.Н. ФЛОРЯ, В.А. ХОРЕВ, Т.В. ЦИВЬЯН**

*А.В. Болдов* (отв. секретарь)

Заведующие отделами: *Адельгейм И.Е.* (отдел литературоведения),  
*Белова О.В.* (отдел культурологии), *Валенцова М.М.* (отдел лингвистики),  
*Стыкалин А.С.* (отдел истории)

Зав. редакцией *Г.А. Михеева*

Сотрудники редакции: *Авакова Л.А., Пономарева Е.В., Веслова И.Ю.*

Адрес редакции: 119991, Москва, Ленинский пр-т, 32а, Телефон 938-01-20  
 E-mail: [jurslav@rambler.ru](mailto:jurslav@rambler.ru)



© 2005 г. В.Н. ВИНОГРАДОВ

ЯВЛЯЛАСЬ ЛИ КРЫМСКАЯ ВОЙНА ДЛЯ СОЮЗНИКОВ  
“ДОСТОЙНОЙ СОЖАЛЕНИЯ ГЛУПОСТЬЮ”?

Заголовок статьи мы заимствовали из высказывания видного британского политика маркиза Роберта Солсбери. В январе 1877 г., обратясь к делам ближневосточным, он обнаружил, что от Парижского мирного договора 1856 г. остались одни воспоминания, и констатировал: “С каждым днем я все более убеждаюсь, что Крымская война была достойной сожаления глупостью” (цит. по: [1. С. 289]). Предшественником Солсбери по пессимистической оценке итогов войны явился не кто иной как один из ее зачинщиков (и премьер-министр с января 1855 г.) виконт Г.Д. Пальмерстон, заметивший, что заключенный после крымской эпопеи мир больше десятка лет не протянет [2. Ф. Канцелярия. 1870. Д. 82. Л. 227]. Он ошибся на пять лет – основы пресловутого трактата рухнули в 1871 г.

Крымская война – единственное общеевропейское столкновение за 100 лет, протекших от наполеоновской эпопеи до начала Первой мировой войны. Ветеран российской дипломатии барон А.Г. Жомини с чувством некоторого изумления и большого удовлетворения заметил по поводу быстрого краха сооруженной в 1856 г. конструкции: он не знает в истории случая “мирной отмены договора всего через 15 лет после его подписания”, и при том в обстановке “дружеских излияний” [2. Ф. Канцелярия. 1871. Д. 88. Л. 201–211].

Нелестная оценка современников нашла подтверждение в историографии. В 1930-е годы Р.В. Ситон-Уотсон свидетельствовал: “Крымская война стала рассматриваться большинством историков как самая ненужная в современной Европе” [3. Р. 359]. Э. Баркер озаглавил свою книгу “Ненужная война”, Г. Гибс – “Грубая ошибка в Крыму” [4]. В наши дни Д. Голдфрэнк признает: “Крымская война с самого начала представлялась многим наблюдателям ненужной и глупой, продуктом злобы и непонимания”. Сам автор избегает столь резких суждений и считает ее “несколько странной”. Он убежден: если бы великие державы действовали в своих интересах, столкновения можно было бы избежать (с чем мы согласны) [5. Р. 5]<sup>1</sup>.

---

Виноградов Владилен Николаевич – д-р ист. наук, главный научный сотрудник Института славяноведения РАН.

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект 04-01-00079а).

<sup>1</sup> Во французской историографии столь нелестные оценки отсутствуют. Победа в Крыму внесена в пантеон национальной славы и переоценке не подлежит.

Причина быстрого краха “крымской системы” очевидна, она вытекает из условий Парижского мира 1856 г. Самой болезненной для России статьёй являлась та, что запрещала ей держать флот на Черном море и сооружать укрепления по его берегам. Для приличия то же самое обязательство было наложено на Турцию, но она могла в течение пары суток перебросить эскадру из Средиземного моря через Босфор и Дарданеллы. Иное дело Россия. Великая держава не может пренебрегать своей безопасностью и оставлять беззащитными тысячеверстные южные рубежи. По словам О. Бисмарка, Россию лишили важной части суверенитета и подвергли “невыносимому унижению”. По сути своей статья являлась бессмыслицей, и отмена ее со дня подписания договора стала первейшей задачей российской дипломатии.

Увы, угар успеха способен затуманить даже обычно трезвые головы. Во время прений в 1856 г. в британском парламенте никто – ни лорды, ни палата общин, ни консерваторы, ни либералы и радикалы даже не задумались о порочности договора, предопределившей его недолговечность.

Другим уязвимым местом учиненного в Париже действия явилась попытка сохранить на Балканах в целостности и неприкосновенности власть Османской империи. Правда, операцию облекли во вполне благопристойные правовые одежды. Покровительство России над “турецкими христианами” заменили коллективной гарантией держав, султана Абдул-Азиза заставили издать хатт-и-хумаюн (августейший указ) с обещаниями реформ, предусматривавших равноправие его подданных независимо от их конфессиональной принадлежности. Западные державы исходили из стандарта – прогресс укрепляет государство. В османской державе все происходило наоборот, реформы вели это полиэтническое и разное по вере государство к упадку и развалу. Так предопределила история. Империя на протяжении веков оставалась конгломератом чуждых друг другу народов, между христианами и мусульманами пролегла стена дискриминации, сербы, болгары, черногорцы, румыны не считали ее своей родиной, она представлялась им злой мачехой, прогресс они усматривали в возрождении национальной государственности. Поэтому каждый шаг вперед вел не к объединению, а разъединению подвластных султану “племен”. Обладавшие автономией сербы, валахи и молдаване, не имевшие официального статуса черногорцы и болгары мечтали о независимости.

На пути преобразований стояли могучие препоны: традиции исламского превосходства над “неверными”, обреченность на неудачу попыток объединить под крышей “османизма” несоединимое, заставить быстро развивавшиеся христианские народы прервать естественное стремление к образованию и укреплению национальной государственности ради химеры общеимперского единства на слегка подновленной полуфеодальной основе с преобладанием мусульманского элемента; наконец, заинтересованность в сохранении существовавшей рутины пашей, обиравших население, чиновников, живших и жировавших за счет управляемых, солдатни разных рангов, включая генеральский, грабивших вечно бунтовавшие провинции, тучи духовенства, не желавшего отступать от догматов корана и, наконец, темной мусульманской массы.

В британском парламенте раздавались голоса, предрекавшие провал реформаторским затеям отечественной и французской дипломатии: “Сам хатт-и-шериф не являлся актом доброй воли султана, в действительности он был исторгнут усилиями послов Англии и Франции”, – говорил граф Грей: “Если его осуществление предоставить туркам, он не стоит той бумаги, на которой

написан”, тем более , что его содержание противоречит Корану. Что же касается “турецких христиан”, то они ненавидят Высокую Порту и ждут не дождутся часа, когда свергнут ее иго. И что иного можно ожидать “после четырехсотлетней отвратительной тирании”? [6. Vol. 141. P. 2025–2026].

Наихудшие ожидания графа сбылись – попытки поставить Турцию на когти реформ не удалась. Высокая Порта утрачивала власть и престиж в глазах христиан, процесс распада Османской империи шел по нарастающей.

Что же касается ответа на вопрос – а была ли неизбежной война, приведшая к столь непредвидимым для ее западных участников результатам, закономерной и неизбежной, – то он требует размышлений, тем более, что к ее развязыванию был причастен император Николай I. Культивируемый на Западе и по сей день имидж крымской эпопеи, как вызванной нахрапистой агрессивностью царизма, далек от истины. На самом деле все обстояло гораздо сложнее.

Ситуацию в предвоенные десятилетия нельзя рассматривать вне системного кризиса, в который погрузилась Россия. Крепостное право шлагбаумом перегородило дорогу прогрессу и обрекало страну на отсталость. Страна представлялась зарубежным современникам каким-то реликтом средневековья: людьми торгуют, ничего нет похожего на представительные учреждения, цензура свирепствует, повсюду голубые мундиры жандармов, обладатель Зимнего дворца стремится контролировать даже мысли. Армия, предмет его неустанных забот, измотана бесчисленными смотрами и парадами, забита шпицрутенами, вооружена устарелыми, заряжающимися с дула винтовками. Железнодорожная сеть, тогда – первейший показатель прогресса, находится в зачаточном состоянии. Во внешней политике России – сбой за сбоем. С середины 1830-х годов – откат от прежде твердых позиций в османской державе, и не по причине слабости и ошибок дипломатии. Д. Голдфрэнк один из разделов своей книги озаглавил “Англия – прыжок вперед, 1833–1841”. Началось мощное наступление британской промышленности, торговли, финансов и конституционных идей на Турцию. Великобритания – соблазнительный рынок, источник практически неограниченных кредитов, поставщик первоклассного вооружения, кладезь соблазнительных для османских реформаторов правовых идей и либеральных принципов. Россия, по большому счету, в турецких товарах не нуждалась, торговлишка шла тонкими струйками в обе стороны, от ее общественного строя порядочные люди (в том числе и на Балканах) отшатывались.

В 1838 г. состоялось подписание англо-турецкого торгового договора, распахнувшего ворота на рынки Османской империи для британских изделий, хлынувших потоком. Местная промышленность была задушена в колыбели, по словам Д. Авджиоглу, великий реформатор Решид-паша подписал Турции “смертный приговор” [7. С. 74]. Зримым свидетельством смены вех в турецкой политике явились совместные маневры флотов Англии и Турции в том же 1838 г. у средиземноморских берегов, в то время как суда под Андреевским флагом в одиночестве бороздили волны Черного моря в виду у Малой Азии.

Вскоре произошло поразившее современников событие: Николай I дал согласие на заключение Лондонских конвенций 1840 и 1841 гг. о проливах, предусматривавших запрет на проход через Босфор и Дарданеллы для военных кораблей всех стран. Сам факт, что царь позволил запереть свой флот в закрытом водном бассейне, свидетельствовал о его вполне миролюбивых намерениях.

Здесь уместно привести свидетельство Филиппа Ивановича Бруннова, ведшего с Г.Д. Пальмерстоном, главой Форин оффис, предварительные переговоры на сей счет и привезшего царское согласие на закрытие проливов: “Вы не можете себе вообразить, какое впечатление мое заявление произвело на лорда Пальмерстона. По мере того, как я раскрывал перед ним намерения и взгляды нашего августейшего повелителя, черты его выражали столь же чувство изумления, сколь и восхищения” [2. Ф. Канцелярия. 1839. Д. 122. Л. 39; 8. С. 111].

Отечественная историография (включая и автора сих строк) [1. С. 202, 212–213] долгое время рассматривала подписание конвенций как серьезное и труднообъяснимое поражение царизма: “Английскому правительству удалось нейтрализовать дипломатию русского самодержавия и полностью поставить ее на свою службу” [9. С. 139]. Конвенции “извратили правовую природу Черноморских проливов, превратив ее из вопроса, подлежащего компетенции двух стран, в международную” [10. С. 98].

Сейчас раздаются иные голоса, и к ним следует прислушаться. “Если подходить к действиям русского правительства без особых предубеждений, – замечают Е.П. Кудрявцева и В.Н. Пономарев, – то при желании можно представить... решение подписать Лондонские конвенции как достаточно аргументированный и взвешенный шаг” [11. С. 137]. Они, как и В. Б. Михайлов, полагают, что отечественная дипломатия была весьма ограничена в выборе средств. Султан мог распоряжаться проливами по своей воле, достигнутые “соглашения по крайней мере исключали возможность непрошенных визитеров к черноморским берегам” [12. С. 333].

Доля истины в высказывании имеется. Самодержавие в 1840-е годы занимало на южных рубежах сугубо оборонительную позицию, – дабы сохранить то, что есть из своего влияния в Османской империи и в первую очередь в ее балканских владениях. Вскоре обнаружилось, что для друзей Высокой Порты проливы, мягко говоря, закрыты неплотно. После подавления в 1849 г. венгерской революции Николай I имел неблагоразумие присоединиться к австрийским требованиям о высылке из османских пределов борцов, среди которых встречалось немало российских подданных поляков. Натолкнувшись на отказ, царь не стал настаивать на своих требованиях. Но долгожитель Форин оффис Г.Д. Пальмерстон воспользовался случаем, дабы продемонстрировать, на чьей стороне сила и влияние. 7 октября 1849 г. он направил послу в Стамбуле Ч. Стрэтфорду указание: “В предвидении могущих произойти случайностей правительство E[e] B[еличества] считает нужным предложить, чтобы британская и французская средиземноморские эскадры отплыли к Дарданеллам и были готовы направиться к Константинополю” [13. Р. 264–265]. Подчиняясь приказу, адмирал Ч. Паркер вторгся в Дарданеллы на 20 миль.

Царь был настолько взбешен произошедшим, что не стал ставить на полях написанной “розовой водицей” ноты канцлера К.В. Нессельроде привычное “Быть по сему” и потребовал дать отпор “нахалу” Пальмерстону, чем пришлось заняться Ф.И. Бруннову. В ответ на его протест британец выдвинул утверждение, будто Дарданеллы начинаются не у впадения в Средиземное море, а в самом узком месте пролива. Посол отверг столь вольное обращение с географией и заметил: “На что имеет право адмирал Паркер, на то имеет право адмирал Лазарев. Если первый может войти в Дарданелльский пролив, то последний может пройти через Босфор”. “Нахал” не собирался идти на откры-

тое столкновение, британские суда из Дарданелл удалились [8. С. 258]. Эпизод показал, сколь зыбки расчеты на то, что проливы заперты на турецкий замок.

Внимательный исследователь внешней политики России С.С. Татищев констатировал: “В конце сороковых – начале пятидесятих годов Англия заняла в Константинополе то положение, получила то влияние, значение и преобладание, которые высочайшей волею императора Николая указаны были, как цель русским дипломатам. Собственное наше дипломатическое положение на Босфоре было сведено к нулю” [14. С. 626]. А самодержец с досадой писал о “состоянии ничтожества, в которое приведена Османская империя англо-французским всемогуществом” [15. Ф. 1292. № 56. Л. 68]. Оставалась единственная ниша для удержания позиций на Балканах – особые отношения с их православным населением, закрепленные в русско-турецких договорах. В сердцах сербов, болгар, черногорцев, молдаван и валахов не угасала надежда на поддержку северной державы в процессе их освобождения от османского владычества. Николай I ухватился за право покровительства над “турецкими христианами”, как утопающий хватается за соломинку.

Но и над этим правом нависла угроза. Луи-Наполеон Бонапарт, император французов с 1853 г., жаждал утвердиться на троне с помощью успехов во внешней политике. Завязался спор о Святых местах, о праве того или иного духовенства служить в почитаемых храмах Палестины. Поскольку большинство христиан на Ближнем Востоке придерживалось “греческой веры”, эту миссию традиционно осуществляли православные священнослужители. Наполеоновская дипломатия целеустремленно повела наступление в защиту интересов католиков. Николай I попал в трудное положение – хорош покровитель православия, позволяющий оттеснить духовенство от службы в храме Гроба Господня и других святынях! Царь вступил в борьбу, не останавливаясь перед угрозой применения силы. “Ставлю на военное положение 4 и 5 корпуса, а также Черноморский флот, и мы будем готовы”, – писал он фельдмаршалу И.Ф. Паскевичу [16. С. 396]. На исходе третьего десятилетия своего правления он утратил присущую ему в молодости осторожность, привычку советоваться с опытными сановниками. В обстановке царившей при дворе лести он лишился способности трезво оценивать позиции других держав и трактовал их в желательном для себя духе, и не нашлось человека, осмелившегося сказать ему правду в глаза. В ослеплении своем царь двинулся в “крымскую ловушку” [17].

Трудно назвать дипломатической подготовкой к войне ту серию заблуждений и ошибочных шагов, которые ей предшествовали. В своих противниках царь числил Турцию и, возможно, Францию. В “друзьях”, монархах Австрии и Пруссии, он не сомневался – они займут позицию благожелательного нейтралитета. “Измену” императора Франца-Иосифа, того, что в недавнем 1849 г. приехал в Варшаву, такой юный, такой робкий, умолять царя о помощи против “мятежных” венгров, он не предвидел. Фатальным просчетом Николая явилось убеждение в том, что Великобритания оружия против него не подымет, и немалую долю вины за подобные заблуждения несла дипломатическая служба, поставлявшая царю угодные ему успокоительные сведения (подробнее см.: [18]).

Поначалу в Лондоне отнеслись спокойно к спору о Святых местах и соглашались, что наступательной стороной в нем являлась французская. Но свобода действий самодержавию предоставлялась лишь в деле о починке крыши храма Гроба Господня, распределения ключей от собора в Вифлееме и



права православного духовенства служить в том или ином алтаре. Посвягать же на принцип status quo на Балканах и Ближнем Востоке, – к чему неминуемо свелась бы русско-турецкая война, – не разрешалось.

Противоборство Великобритании и России в регионе насчитывало уже столетия; прибегнуть к “последнему доводу королей”, т.е. к войне, владычица морей не могла по причине отсутствия надобной для сего сильной сухопутной армии. Не многопушечные же парусники двигать на Москву! Континентальные войны Великобритания вела и выигрывала штыками союзников, а таковые отсутствовали. Прочность европейских позиций самодержавия между прочим объяснялась и тем, что у него отсутствовали какие-либо претензии к кому-либо из западных соседей. А тут – в первый и последний раз за сто лет – союзник сам в руки шел в лице новоявленного императора французов Луи-Наполеона, жаждавшего взять реванш за гибель в России великой армии его дяди Наполеона I. Вопрос перед Лондоном стоял так: или продолжать прежний курс на верное, но медленное вытеснение России с ее позиций в регионе, или, воспользовавшись уникально благоприятным стечением обстоятельств, взобравшись на плечи “Европе”, возглавив коалицию четырех держав (ибо существовала надежда на вступление в союз Австрии), нанести России удар неслыханной силы, отбросить ее на сто лет назад, не только запретить ее в Черном море (что удалось сделать в 1841 г.), но и открыть тысячеверстное побережье для ударов британского флота, устранить соперничество царизма на Балканах и Ближнем Востоке. И в Лондоне взяли верх тогдашние ястребы во главе с Г.Д. Пальмерстоном.

Не предвидя сего, в состоянии полного политического ослепления, Николай I затеял в январе 1853 г. свои злополучные беседы с послом сэром Д. Гамильтоном Сеймуром, доверительно изложив ему свои вполне умозрительные планы о разделе сфер влияния после того, как Османская империя волею Всевышнего развалится, во что самодержец верил неукоснительно. Впоследствии эти размышления вслух были представлены европейской общественности как доказательство неумной хищности агрессивного русского медведя.

Покорный царскому указанию канцлер К.В. Нессельроде приступил к сочинению инструкций для генерала и адмирала А.С. Меншикова, отправляемого с чрезвычайной миссией в Стамбул. Решено было добиться у Высокой Порты формального, закрепленного международным договором (сенедом) обязательства о покровительстве православной религии. В проекте соответствующего акта говорилось: российский и султанский дворы устанавливают “настоящей конвенцией, что православная религия будет пользоваться покровительством во всех ее церквах и что министры императорского российского двора, как и в прошлом, будут вправе делать представления в пользу церквей Константинополя и других мест, которые будут приниматься как исходящие от соседней и искренно дружественной державы” [16. С. 383–384]. Предпринималась явная попытка заполучить возможность вмешательства во внутритурецкие дела, что, разумеется, должно было встретить сопротивление Высокой Порты и ее покровителей. Разумному объяснению не поддается, зачем еще в ведомстве Нессельроде сочинили проект оборонительного союза с султаном в случае принятия всех царских требований (!)

Вооружившись множеством бумаг, Меншиков отправился в путь (апрель 1853 г.). В Стамбуле он повел себя словно слон в посудной лавке и потоком лил воду на мельницу антироссийской пропаганды: на аудиенцию к султану

явился в цивильном платье, а не в парадном мундире, верительные грамоты представил только на русском языке, министра иностранных дел Фуада-эфенди не удостоил визитом, тот понапрасну ждал в кабинете, у дверей которого дежурил церемониймейстер, и подал после этого оскорбления в отставку. Все эти бестактные и незадачливые выходки заслонили от европейской общественности тот факт, что князь пошел на серьезные уступки и отказался в предъявляемых требованиях от “излишеств” [1. С. 250–259].

Ему пришлось столкнуться не только и не столько с турками, сколько с “великим элчи” (послом Чарлзом Стрэтфордом), превратившимся в лорда Редклиффа, с которым не дилетанту в генеральском мундире было тягаться. В Петербурге с досадой убедились, что “Порта потеряла всякую независимость по отношению к Великобритании” [2. Ф. Отчеты. 1853. Л. 55]. По свидетельству биографа знаменитого дипломата, турки действовали “под руководством” Стрэтфорда [19. Р. 275]. Исследователь истории Крымской войны Л. Бирн именовал инструкциями даваемые “великим элчи” туркам советы [20]. Меншиков жаловался: “Порта даже более слепо, нежели обычно, поддается на инсинуации лорда Стрэтфорда, которому сообщает малейшие детали переговоров с нами” [15. Ф. 11. № 1226. Л. 178].

Адресат столь горького упрека сформулировал свою цель вполне определенно – “превратить вопрос из русского в общеевропейский”, т. е. ликвидировать право самодержавия на покровительство балканским христианам и учредить над российско-балканскими отношениями европейский надзор. Вопрос о службе православного и католического духовенства в храмах, расположенных в очагах христианства, был решен на основе компромисса. Затем перед Меншиковым возникла стена, самодержавию предлагали свести проблему к богослужебным делам в Палестине и отказаться от всякого вмешательства в пользу балканских народов. Меншиков пошел на значительное сужение формулировок предполагаемого сенеда, затем вообще отказался от идеи договора. Он получил отрицательный ответ, составленный, по его словам, в британском посольстве. Великий везир Мустафа Решид-паша сообщил ему, что султанским указом будут подтверждены права православной церкви. Что же касается международного акта, то он мог бы относиться лишь к строительству русской церкви и странноприимного дома в Иерусалиме. Из Петербурга пришла такая формула: Порта выступит с нотой, в которой султан соизволит “оценить и серьезно принять во внимание переданные через российского посла откровенные и искренние представления в пользу восточной православной церкви” [16. С. 428]. Но и это ни к чему не обязывающее заявление было сочтено недопустимым посягательством на суверенные права падишаха. Царизму предложили отстраниться от балканских дел. 9 (21) мая пароход “Громобой” с российской миссией на борту развел пары и взял курс на Одессу.

22 июня (3 июля) Николай решился на роковой шаг: два армейских корпуса начали переправу через Прут и заняли Дунайские княжества – в качестве меры давления и для того, чтобы сдерживать оппонентов. Это был грубый просчет. К.В. Нессельроде уверял всех, что самодержавие далеко от мысли сокрушить Османскую империю, “не преследует цели территориального расширения” и постарается “избегнуть войны”, если ему ее не навязжут [16. С. 6, 75]. Ему никто не верил. Посыпался дождь облеченных в дипломатические ноты упреков. Глава Форин оффис лорд Д. Кларендон в категорической форме требовал: “Сохранение турецкой империи является европейской необходи-

мостью, ее расчленение, будь то от внешней агрессии либо в результате внутренних потрясений, явится катастрофой для Европы” [16. Т. 2. С. 36–42; 2. Ф. Канцелярия. 1853. Д. 50. Л. 129–133].

Попытки уладить дело миром не прекратились. Царь, похоже, осознал, что занес ногу над пропастью, и проявлял сговорчивость. Венцом усилий по предотвращению войны можно считать так называемую Венскую ноту (июль 1853 г.), которая от имени четырех держав (Англии, Франции, Австрии и Пруссии) и с предварительного согласия России вручалась Высокой Порте и, в случае ее принятия, конфликт считался исчерпанным. Никаких сенедов она не предусматривала, никаких обязательств перед Россией не содержала. Центральный ее пункт гласил: “Е[го] В[еличество] султан останется верен букве и духу положений договоров Кючук-Кайнарджийского и Адрианопольского о покровительстве христианской религии” [16. Т. 2. С. 52–53]. Зимний Дворец немедленно выразил согласие с нотой. Решид-паша при участии Стрэтфорда внес в ее текст поправки, вычеркнув всякое упоминание об обязанности Порты перед внешним миром оберегать права православной церкви. Забота о ней приписывалась исключительно султанам, Россия как бы не присутствовала на Балканах.

Николай I встал перед мучительным выбором – капитулировать, принять “исправленный” текст ноты или продолжать борьбу? Обстановка была накалена до предела, обыватель в Англии и Франции уверовал – бедняжка Турция бьется в паутине, которой ее опутала хитроумная российская дипломатия, и пришел час обнажить меч. В британском парламенте звучал призыв – “Война или позор!” [6. Vol. 141. P. 2044]. Требования Меншикова представлялись “как дающие царю возможность вмешиваться почти во все вопросы, касающиеся 12 или 13 миллионов христиан греческой веры” [19. P. 255]. Его далеко идущие уступки предавались забвению. Подобная трактовка событий прочно утвердилась в историографии и повторялась в течение десятилетий. Суммируя имевшиеся взгляды, “Британская энциклопедия” писала: Россия, “продолжая политику экспансии в направлении Константинополя, заложенную еще в легендарном волеизъявлении Петра Великого<sup>2</sup>, в начале 1853 г. использовала мелкий религиозный спор, касавшийся немногих священников греческого культа, для того, чтобы потребовать себе без всяких на то оснований неофициальную, но выгодную роль покровителя православных христиан *in partibus infidelium*, как прелиминарий к возможному перераспределению имущества “больного человека”, каковым ее правитель, царь Николай, считал Турцию” [21. P. 708].

Следует отметить, перед войной в британском парламенте раздались голоса правдолюбцев, взявших на себя труд внимательно ознакомиться с документами и пришедших к выводу, что “ультиматум Меншикова” ничем Османской империи не угрожал. Граф Грей говорил в верхней палате: “Совершенно ясно, что, подписав ультиматум, Турция не предоставила бы России ничего, помимо того, ... что последняя уже имеет” [6. Vol. 130. P. 510]. Крахом Порте угрожали не бумаги, а освободительное движение народов и сепаратизм местных правителей. И не они определяли степень влияния России. Опытнейший Ф.И. Бруннов высказывал глубоко правильную мысль – не фор-

---

<sup>2</sup> Подразумевалось сфабрикованное “завещание Петра Великого”.

мулы трактатов, а реальное соотношение сил воздействовало в решающей степени на российско-турецкие отношения: “Более или менее жесткая статья в действительности ничего не прибавит к нашему влиянию в Турции. Его истоки – в делах, а не в словах” [8. С. 311]. Слабеющая, пораженная гангреной крепостничества Россия удержать свои позиции на бумажном фундаменте не могла. Подписание даже привезенной Меншиковым конвенции ничего грозного для Стамбула не несло, советами в пользу православных Порты могла пренебречь. Правда, шансы на подобное развитие событий равнялись нулю.

Более реальной представляется другая альтернатива: Николай идет на попятный, принимает сделанные дуэтом Стрэтфорд – Решид-паша поправки к Венской ноте, соглашается на отказ от особых прав в отношении “турецких христиан” и на учреждение надзора держав над его отношениями с Османской империей. В таком случае выход из тупика произошел бы все-таки без территориальных потерь и разоружения на Черном море.

Но в силу вступил психологический фактор, идти на подобное унижение Николай не стал. Личность романтического склада, человек, глубоко убежденный в божественном происхождении власти монархов, трудившийся денно и нощно ради, как ему представлялось, блага подданных, оберегавший их от революционной “заразы” и либеральной “скверны”, в недавнем прошлом первый государь Европы, гордый, надменный и самонадеянный, – признать себя политическим банкротом он не мог и решился на войну, безнадежную с самого начала.

Крымская эпопея принесла России и горечь поражения, и славу Севастополя. Перед героизмом защитников твердыни склоняли голову враги. История “расскажет о не знавшей усталости предприимчивости русских, об их непоколебимой отваге и спокойной стойкости, о знаниях их инженеров, о храбрости и искусстве генералов” (из выступления лорда Гленели в парламенте) [6. Vol. 141. P. 1959]. Не столь объективные парламентарии выражали досаду по поводу того, что России не удалось навязать многих желательных для британских ястребов условий. Случается массовое головокружение без видимого успеха. Воинство в красных мундирах лавров в Крыму не стяжало, бастион, который оно осаждало, остался непокоренным. Но горячим головам представлялось, что мощь России подорвана недостаточно: оторгнута всего лишь крошечная Южная Бессарабия, желательно было добиться нейтрализации Азовского моря, разрушения укреплений по Кавказскому побережью, провозглашения независимости горцев; выражалось сожаление, что не удалось смести с лица земли Кронштадт [6. Vol. 141. P. 1987, 2007, 2009, 2054]. Итог в делах балканских представлялся до обидного несолидным. По словам Р.В. Ситон-Уотсона, Турции предоставили “двадцать лет отсрочки для возобновления внутренних реформ” [3. P. 352], или, в поэтическом изложении “Кэмбриджской истории британской внешней политики”, “турки получили еще один день милосердия” [22. P. 357].

Заключенный мир расшатал всю систему европейских международных отношений. Великобритания, не одержав ни одной впечатляющей победы, серьезно потеснила позиции России на континенте, добилась отмены права покровительства последней над “турецкими христианами”, достигнутого в результате четырех кровопролитных и победоносных войн (1768–1774, 1787–1791, 1806–1812, 1828–1829 гг.). Наполеон на десятилетие обеспечил себе первенствующее положение среди монархов Европы, а континент стал полем его не-

предсказуемой политики. Внутренняя слабость режима порождала жажду завоеваний, отсюда – каскад внешнеполитических авантур, простиравшихся от Мексики до Индокитая, коими обитатель Тюильрийского дворца занимался вплоть до рокового часа своего падения.

Россия приходила в себя после тридцати лет николаевского царствования. “Война окончилась. Всем стало легче. Но за этим чувством скрывалось чувство злобы, обиды, чувство побежденного народа, до сих пор привыкшего только побеждать” [23. С. 67]. Страна выбралась из обломков Священного союза. “Императорский кабинет долгое время был скован традициями, воспоминаниями и общественными связями, которые лишь для него были священны”, – говорилось в отчете МИД за 1856 г. Дальнейшая приверженность им “способна скомпрометировать самые насущные наши интересы” [2. Ф. Отчеты. 1856. Л. 11]. И далее: прежние политические комбинации “свелись к нулю в день, когда оказались затронуты великие интересы России” [2. Ф. Отчеты. 1856. Л. 43]. Горький опыт последних лет не остался втуне. Страна обрела свободу действий. Российская армия на бастионах Севастополя утвердила свою репутацию, что способствовало смягчению синдрома поражения. Рассеивалась удушающая атмосфера николаевского правления, страна вздохнула полной грудью, придавленное общество распрямилось и зашумело о путях движения вперед. В начале 1857 г. Александр II пригласил к себе ближайших сановников и заявил им, что намерен отменить крепостное право.

Наконец-то из царских уст раздалось это слово! И отец его, при всей приверженности к консервативным и охранительным началам, сознавал зло крепостничества. Десять секретных комитетов трудились при нем над аграрным вопросом, – а в результате скромные паллиативы, которые и полумерами не назовешь. Грозный император испугался сопротивления дворянства и повторения пугачевщины.

Понадобилось потрясение Крымской войны, чтобы создать почву для проведения великой реформы. Дворянское сословие осталось косным до конца; по мнению Льва Толстого, девять десятых его представителей были против отмены крепостного права [24. С. 61]. Публицист П.Д. Боборыкин приводил более скромную цифру, но и он признавал: “Огромный класс дворянства на две трети был против падения крепостничества, чиновничество в массе держалось еще прежнего духа и тех же нравов” [25. С. 296–297]. Реформу подготовила горстка людей из знати и высшей бюрократии. Назовем их ныне полузабытые или совершенно забытые имена, они того заслужили: великий князь Константин Николаевич, Я.И. Ростовцев, С.С. Ланской, Д.Н. Блудов, братья Н. и Д.А. Милютины; великая княгиня Елена Павловна представляла “партию реформ” в салонах, подготавливая “свет” к неизбежному. Состав преобразователей в определенной степени объясняет лимиты и недостатки акта 1861 г.

Европу облетела крылатая фраза нового министра иностранных дел князя А.М. Горчакова из его циркулярной депеши от 21 августа (2 сентября) 1856 г. – “Россия не сердится, Россия сосредотачивается”, своего рода декларация внешнеполитических принципов нового царствования: Священный союз рухнул и восстановлению не подлежит; стране нужен длительный мир, “обстоятельства вернули нам полную свободу действий”. Государственный муж, а не чиновник высокого ранга, заботящийся прежде всего о своем департаменте, А.М. Горчаков провозглашал приоритет внутренних преобразова-

ний, а не внешней политики, хотя, казалось бы, следовало прежде всего избавиться от оков Парижского мира: “Император решил предпочтительно посвятить свои заботы благополучию своих подданных и сосредоточить на развитии внутренних ресурсов страны деятельность...” [26. С. 211–212].

Сие отнюдь не означало отстранения от зарубежных дел. Треугольник раздоров на континенте составляли тогда Франция, Австрия и Пруссия. В Париже и Вене быстро сообразили, что изгнать Россию из “европейского концерта” не то что невозможно, но и смысла нет. Вся упомянутая троица нуждалась в добрых отношениях с Петербургом.

Вена, после четырех лет шантажа и интриг против России, очутилась лицом к лицу со своим подлинным антагонистом, наполеоновской Францией. А отношения с Петербургом были испорчены донельзя, австрийская дипломатия заслужила лютую ненависть со стороны российской общественности, с которой очень и очень считались власть предержащие, которые, впрочем, вполне разделяли это чувство. Ведомство на Балльхаузплац проявило редкую в истории близорукость и в погоне за балканскими соблазнами на корню подрезало свои позиции в Германии и Италии. Отречемся от эмоций, столь красочно проявленных Николаем Павловичем по отношению к канцлеру Ф. Буолю (“Мерзавец!”, “Негодяй!”, “Каналья!”), и пойдем по пути хладного рассудка.

В австро-прусском соперничестве Николай неизменно стоял на стороне Габсбургов и открыто их поддерживал. Участие в подавлении венгерской революции в 1849 г. среди других причин объяснялось и его стремлением сохранить Австрийскую монархию и дать отпор прусским притязаниям на гегемонию в Германии. В феврале 1849 г. он писал фельдмаршалу И.Ф. Паскевичу: “Будущность Пруссии для меня в тумане; но одно кажется ясно – не быть единству Германии, ни прочим бредням”. И еще одна любопытная фраза из его переписки с “отцом-командиром”: «Пруссия с Австрией близки к разладу, и я должен их мирить. Дело нелегкое, и я молю Бога о скорейшем окончании (венгерского похода – *В.В.*), дабы снова иметь армию под руками и тем им сказать: “Не дурачьтесь, а то я вас!”» [27. С. 268, 323–324].

В том же году, под царским нажимом, прусские войска были выведены из Шлезвига, входившего тогда в состав Дании. В следующем году по так называемому Ольмюцкому соглашению, достигнутому при посредничестве царя, Берлин отказался от планов реформирования Германского союза под своей эгидой, и тот остался в прежнем виде. Бессильная Германия во главе со слабой Австрией – такая формула удовлетворяла Николая I.

После Крыма, лишенная поддержки самодержавия, Вена покатила по наклонной плоскости поражений и “удалилась” из Италии и Германии. А российская общественность радовалась неудачам “изменницы”.

Александр II не чувствовал себя изгоем в монархической среде. Государи выстроились на свидание с ним в очередь. Первым, конечно, стал Наполеон. “Задушевные” беседы за чашкой кофе с князем А.Ф. Орловым во дворце Тюильри весной 1856 г. являлись прелюдией к дальнейшему. На коронацию царя он отправил свое доверенное лицо (и молочного брата) графа Ш.О. Морни. Как писал академик Е.В. Тарле, “всюду, по любому поводу и даже без всякого повода, Морни не переставал говорить о пользе франко-русского союза для обеих империй и о том, что этот союз может дипломатически господствовать в Европе и во всем мире” [28. С. 471]. Его слушали и с ним соглашались.

Не следует думать, что мысль о сближении с Францией родилась в уме князя А.М. Горчакова под влиянием поражения, боязни изоляции или под воздействием красноречия наполеоновского посла. Он рассматривал альянс как естественную комбинацию, продиктованную государственными интересами двух стран при отсутствии у них антагонистических противоречий. Мысли подобного рода мелькали у Петра Великого, Екатерины II и Павла. Горчакову принадлежит высказывание, исполненное глубокого значения: “Следует установить согласие не с той или иной династией, а именно и исключительно с Францией безо всякого внимания к режиму, который господствует в стране, ... ни к симпатиям, более или менее глубоким, которые могут вызывать личности”. Современники понимали намек – Николай I своей “дипломатией чувств”, продиктованной ненавистью к “королю баррикад” Луи-Филиппу и “высочке” Наполеону, нанес немалый ущерб своей стране. Сотрудничество предполагалось на геостратегической основе и на длительный срок.

Но альянс двух держав требовал по крайней мере двух предпосылок. Прежде всего – взвешенного внешнеполитического курса. Основопологающий принцип горчаковской дипломатии гласил: “Сохранение мира в Европе является неотъемлемым условием наших внутренних преобразований” [2. Ф. Отчеты. 1856. Л. 247–248]. Вторым условием сотрудничества было согласие партнера хотя бы на постепенную, пусть даже растянутую во времени, ликвидацию обременительных для союзника условий договора 1856 г. (что ни в какой мере не задевало подлинных французских интересов).

Увы, Наполеон с его вечными претензиями на земли соседей под эти параметры не подходил, Россию он представлял в качестве ведомого при осуществлении экспансионистских комбинаций. Понадобилось время, чтобы осознать эти неприятные истины...

А Бонапарт спешил. Его настойчивое стремление к округлению французских границ могло натолкнуться на сопротивление двух немецких государств. Избегнуть сего Наполеон надеялся, воспользовавшись царившей в Петербурге неприязнью к Габсбургам. Натравить Россию на Австрию, пойти на легкие уступки на Балканах и на этой почве наладить сотрудничество с Зимним Дворцом составляло его задумку.

Наполеон запросил свидания с царем. Весть о намечавшейся встрече переполошила немецкие дворы, наперебой предлагавшие свои услуги по ее организации. Всех опередил престарелый вюртембергский король Людвиг, воспользовавшийся своим семидесятилетием. В Штутгарте Бонапарт заговорил с царем о тяжести и несправедливости мирного урегулирования 1815 г., завершившего серию наполеоновских войн, и тем сразу раскрыл свои замыслы. Он мечтал о крупной перекройке карты Европы и заговорил о возвращении своей страны к ее “естественным границам”, которые, в его трактовке, пролегли по Рейну. Император Александр в дружественных выражениях, но совершенно определенно высказался против подобной схемы достижения условий для прочного мира. Он предпочел бы, чтобы с ним заговорили о другом договоре, о том, что был недавно подписан в Париже. Собеседник реагировал крайне сдержанно. У царя создалось впечатление, что тот считает акт 1856 г. “временной комбинацией”, и все. Не обошли собеседники во время встречи и вопрос об Австрии. Наполеон заметил, что намерен “удалить” ее из Италии. Реакция со стороны Александра последовала несколько иносказательная, но вполне поддававшаяся расшифровке, он сказал, что повторять “ошибку

1849 года” (т.е. вмешиваться вооруженной силой в пользу Вены ) не намерен [29; 30. Т. 1. С. 193, 199, 200–204].

Свидание показало лимиты сотрудничества двух держав (взаимодействие в решении ряда балканских вопросов). Становиться подручным в осуществлении аннексионистских планов Бонапарта Александр II молчаливо отказался .

В Вене свидание вызвало глубокую тревогу – не собираются ли два монарха разгромить Австрию ударами с запада и востока? Император Франц-Иосиф напросился на свидание, Александр не счел возможным отказать ему в беседе. Российская сторона везде, где можно, подчеркивала, что встреча состоялась по пути царя домой, в Веймаре, и по настойчивой просьбе австрийской стороны (слово “домогательство” в дипломатии не принято), и являлась простым актом вежливости. Канцлер К.Ф. Буоль поспешно отправился в отпуск для поправки надорванного на службе здоровья, но все понимали – разговаривать с “канальей” и “мерзавцем” русские бы не стали. Франц-Иосиф усиленно демонстрировал готовность к сближению на испытанных охранительных основах: оба двора придерживаются консервативных принципов во внутренней политике, следовало бы распространить их и на внешние дела. В Берлине на чемоданах дежурил король Фридрих-Вильгельм IV, скажи царь слово “да”, и миру явилась бы незабвенная тройца Священного союза. Реакция с российской стороны была вежливо-холодной, что вытекало из курса Горчакова, со Священным союзом покончено, восстанавливать его нет никакого смысла [2. Ф. Отчеты. 1856. Л. 194б 239]. На досадливое замечание Франца-Иосифа – кроме “несчастливого Восточного вопроса” ничего серьезного дворы не разделяет , он получил ответ: для России онный вопрос значит больше, чем все остальные, вместе взятые [2. Ф. Отчеты. 1857. Л. 29]. Австрию отдали на расправу французам, “изменница” пожинала плоды своего “коварства”.

В декабре 1858 г. в Петербург приехал капитан флота барон де ла Ронсьер ле Нури с письмами императора французов и его двоюродного брата принца Наполеона, в Париже начинавшиеся переговоры сочли столь секретными, что решили не прибегать к обычным дипломатическим каналам. Суть содержащихся в письмах предложений сводилась к следующему: при наступлении франко-австрийской войны Россия порывает дипломатические отношения с Габсбургской империей и сосредотачивает на границе с нею армию в 150 тыс. штыков и сабель. Если Россия пойдет дальше и вступит в войну, “император Наполеон обещает оказать России поддержку, чтобы при заключении мира ей была уступлена Галиция”. Самодержавие же дает согласие на присоединение к Франции Савойи и Ниццы, образование в Северной Италии государства с населением приблизительно в 8 млн человек и, если позволят обстоятельства, – на провозглашение независимой Венгрии [26. С. 259–270].

Маленький Наполеон затевал большую войну и вербовал Россию в свои помощники. Все это полностью расходилось с выработанной князем Горчаковым концепцией геостратегических интересов страны – нужен длительный мир для осуществления программы реформ, которые – и только они – позволят стране укрепить свое положение в Европе. А ей предлагают вступить на путь опасных внешнеполитических комбинаций и поставить под угрозу срыва программу внутренних преобразований. Единственный кровно интересовавший Горчакова пункт – об отмене нейтрализации Черного моря, – затрагивался в письме Наполеона в необязывающей для него форме: “если представится случай” (!), то он при заключении мира обещает оказать поддержку в измене-



нии (не в отмене!) отягощающих Россию условий 1856 г. Горчаков предложил, чтобы Франция “уже теперь” отказалась от их гарантии (иными словами, порушила бы Парижский трактат). Из Парижа поступил отрицательный ответ. После этого перед ведомством иностранных дел встала задача в возможно большей степени локализовать надвигавшийся конфликт (а Пруссия уже мобилизовала три армейских корпуса, и британский премьер-министр Г.Д. Пальмерстон заявил, что его страна не потерпит нарушения заключенных в 1815 г. договоров, так что горячего материала имелось более чем достаточно).

Эмоциональные увлечения дипломатии противопоказаны. Становиться подручным по утверждению в Европе наполеоновской дипломатии Горчаков не собирався, представлялось, что перед лицом такой угрозы полезно сохранить слабую Австрию, которая “занимает в европейской системе на наших границах, в ситуации крайнего смещения рас, важное место”. Ее падение может повлечь за собой образование здесь “опасной пустоты” [2. Ф. Отчеты. 1859. Л. 162].

Войну 1859 г. удалось ограничить участием в ней трех государств, Франции, Австрии и Пьемонта. Потерпев поражение, Франц-Иосиф отказался в пользу итальянцев от Ломбардии, а те уступили Наполеону Ниццу и Савойю.

В Петербурге осталось тяжелое впечатление от трудных переговоров 1858–1859 г. : “Не отрицая плодов, которые принесли нашей стране совместные действия на Востоке, мы эквивалента не получили. Во всех без исключения случаях французское правительство не принесло в жертву ни одного из своих интересов” [2. Ф. Отчеты. 1862. Л. 143]<sup>3</sup>.

Россия не желала бежать пристяжной в его колеснице, Бонапарт был разочарован: “Мы не можем не признать, что иллюзии, питаемые императором Наполеоном относительно нашей позиции, посеяли в его душе зерно недоверия”, – так изящно выражался А.М. Горчаков в отчете МИД за 1859 г. Разочарование в сотрудничестве с ним нарастало, Луи-Наполеон явно пытался выступить в альянсе в роли всадника, а Россию использовать как лошадь. В документах ведомства иностранных дел полно жалоб на “авантюристические аллюры” его “непредсказуемой политики”, двойную игру, на фантазии его окружения. Отчет за 1861 г. составлен в унылых тонах: Россия “не питает ни иллюзий, ни доверия к практической ценности антанты с императором французов”, согласие с ним “должно основываться на полной взаимности, цепи мы принять не можем” [2. Ф. Отчеты. 1859. Л. 6862; 1862. Л. 12]. Завоевательный поход в Индокитай, авантюра с водворением в Мексику императора Максимилиана по-человечески изумляли петербургских сановников, но особых эмоций не вызывали. Иное дело – натиск в Европе, групповая детронизация князей в Италии, непрекращавшиеся поползновения на приграничные земли. Сотрудничество на Балканах эквивалента не приносило, тщательный уход от принятия каких-либо конкретных обязательств относительно тяготивших Россию условий Парижского мира, ничего, кроме туманных обещаний, – все это разочаровывало.

В 1863 г. Наполеон выступил радетелем по польским делам, и тем самым поставил крест на мечтаниях Горчакова о тесном сотрудничестве с Францией. Альтернативы министр не видел, симпатий Александра II к Пруссии и

<sup>3</sup> О совместных русско-французских действиях на Балканах см.: [31].

особенно к дяде, королю Вильгельму, не разделял, появление могущественной “Пруско-Германии” встретил с тревогой. Все старания его и царя умирить аннексионистские устремления Берлина в войнах 1864 г. с Данией и 1866 г. с Австрией результата не возымели, король Вильгельм неизменно отвечал на их демарши, что общественность не позволит похитить у победоносной армии ее лавры.

К концу 1860-х годов обозначилось банкротство политики Наполеона Третьего: попытка вмешаться в польское восстание 1863 г. потерпела крах, из австро-прусской войны 1866 г. выгоды извлечь не удалось, сорвались планы, связанные с присвоением великого герцогства Люксембург, в далекой Мексике повстанцы Бенито Хуареса расстреляли его ставленника императора Максимилиана; и, после охлаждения в отношениях с Россией – полное одиночество на континенте. Оставалось упиваться славой взятия Севастополя как величайшего деяния основанной им династии. Посягать на Парижский мир Бонапарт не смел – а иного пути к сближению с Россией не существовало. Горчаков оставался, – увы, только теоретически, – сторонником сотрудничества с Парижем. Но беседы с послом, генералом Э. Флери, оставляли его “в сумерках”, а то и “погружали во мрак”. Министр иностранных дел маркиз К. Мустье слал инструкции – трактат 1856 г. – “единственный материальный результат славной войны, из которой мы не извлекли никакой выгоды” [32. С. 127–128]. Выпускать из рук хоть увядший, но победоносный венок Луи-Наполеон не желал.

У “железного канцлера” Отто фон Бисмарка, возглавившего в 1862 г. прусское правительство, в руках появился волшебный ключик к сердцам и душам российской элиты. Нельзя сказать, что Пруссия во время Крымской войны хоть чем-то помогла России, ее аусамт участвовал в акциях (фактически – протестах) держав в связи с миссией Меншикова. Однако король Фридрих-Вильгельм IV не шантажировал ни своего шурина Николая, ни племянника Александра угрозой вступить в войну и не слал им ультиматумов. Пруссаки, хотя и подписали Парижский договор, имели благоразумие не цепляться за пункт о нейтрализации Черного моря, который их мало волновал, а, напротив, выражали готовность поддержать его аннулирование, и тем обрели для себя великие выгоды. В стене сопротивления российским требованиям существовала лишь одна брешь – прусская. И это высоко ценилось в Петербурге.

Следует отдать должное российской общественности – она считала закономерным и неотвратимым процесс объединения Германии. Влиятельная и широко читаемая газета “Московские ведомости” писала: “Благоразумие воспрещает противодействовать тому, что составляет неизбежную потребность положения дел. Таковую потребность нельзя не видеть в объединении Германии” (цит. по: [33. С. 170]). Но сам ход его внушал глубокие опасения – бурный натиск, стремительный разгром Дании и Австрии, выдворение последней из Германского союза и, наконец, схватка с Францией под шовинистические завывания немецкой прессы. Захват двух провинций, Эльзаса и Лотарингии, считался само собой разумеющимся. Шли поиски другой добычи, писали о Люксембурге, полагали, что пора обзавестись колониями (назывался Алжир), вспоминали об остзейских немцах... Князь В. Мещерский в письме к наследнику-цесаревичу Александру Александровичу тревожился: “Невольно у всех на языке то, что хочешь – не хочешь, приходит в голову: черт возьми, эдак и до нас доберутся” [34. С. 156–157, 165, 184, 187].

Но с немецкой стороны в критические моменты следовало напоминание о готовности Берлина оказать важную услугу: “Пруссия никак не заинтересована в сохранении этих условий” (миссия генерала Э. Мантейфеля, октябрь 1866 г.); “Если у России есть пожелания относительно Парижского трактата, мы охотно сделаем для нее все, что сможем”, – О. Бисмарк (август 1870 г.) [30. Т. 2. С. 97].

А российской дипломатии оставалось ловить случай для того, чтобы сбросить вериги Парижского мира. Он выдался во время франко-прусской войны 1869–1871 г. – один участник и хранитель договора, Луи-Наполеон, оказался в плену, а его империя приказала долго жить, другой, Пруссия в лице короля Вильгельма и Бисмарка, обещал оказать России поддержку. В марте 1871 г. на конференции в Лондоне нейтрализация Черного моря была отменена, Россия получила право воссоздать в его бассейне военный флот. Выработанной в Париже в 1856 г. системе договоров история отпустила всего 15 лет существования, она бесславно скончалась. В качестве плакальщиц на похоронах пресловутого акта выступила британская печать, предаваясь стенаниям по поводу капитуляции “Европы” перед Горчаковым. Французам было не до горестных излияний, Париж находился в осаде. Бессмыслица вечно существовать не может. Нельзя было лишать Россию возможности защищать свои берега, заставлять ее жить под нависшей над ее безопасностью угрозой. Безнадежно было рассчитывать на то, что христианские народы Балкан смирятся с существованием под эгидой полумесяца. Освободительное движение сербов, черногорцев, болгар, румын развивалось по нарастающей.

Из руин Севастополя восстала новая Россия. Рискнем сказать, что главной жертвой крымской эпопеи стала не она, а некоторые из триумфаторов. Великобритания отделилась разочарованием, загнать империю Романовых в угол изоляции и выдворить ее с Балкан не удалось. Франция и Австрия пострадали несравненно больше. Было бы непростительным упрощением приписывать все постигшие их беды последствиям Крымской войны, но что значительная их доля крылась в “Крымском наследстве” – несомненно.

В плане геополитическом Россия не была заинтересована ни в чрезмерном ослаблении Габсбургской монархии, ни в непомерном усилении Пруссии. Но Вена столько напакостила...

Блок России и Франции имел реальные шансы на существование и мог бы предотвратить войну последней с Пруссией, объединение Германии произошло бы спокойнее, без оглушительного звона оружия и потоков пролитой крови и, главное, без территориальных потерь с французской стороны. Но “победоносный” Парижский договор ядром болтался в ногах дипломатии Второй империи и увлек страну в пропасть.

Когда осенью 1870 г. в Петербург прибыл Адольф Тьер с криком о помощи, Горчаков с огорчением и досадой сказал ему по поводу упущенных возможностей альянса двух стран: “Если бы Французская империя считалась с нами, она избежала бы тех бедствий, которым... подверглась” [26. С. 339]. За победоносные лавры Крымской войны Франция расплатилась двумя прекрасными провинциями, Эльзасом и Лотарингией. А ведь “счастье было так возможно”, реальные предпосылки прочного франко-русского сотрудничества ради укрепления стабильности на континенте существовали.

Так для кого же Крымская война явилась “достойной сожаления глупостью”?

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Виноградов В.Н.* Великобритания и Балканы: от Венского конгресса до Крымской войны. М., 1985.
2. Архив внешней политики Российской Федерации (АВПРИ).
3. *Seton-Watson R.W.* Britain in Europe. Cambridge, 1937.
4. *Barker A.J.* The Vainglorious War. London, 1970; *Gibbs P.* The Crimean Blunder. London, 1960.
5. *Goldfrank D.* The Origins of the Crimean War. New York, 1994.
6. Parliamentary Debates. 3-rd Ser. London, 1854. Vol. 130. London, 1856. Vol. 141.
7. *Дулина Н.А.* Англо-турецкий договор 1838 г. // Народы Азии и Африки. 1976. № 3.
8. *Мантленс Ф.Ф.* Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. СПб., 1998. Т. 12.
9. *Георгиев В.А.* Внешняя политика России на Ближнем Востоке в конце 30-х – нач. 40-х годов 19 века. М., 1975.
10. *Дранов Б.А.* Черноморские проливы. М., 1948.
11. Россия и Черноморские проливы. М., 1999.
12. История внешней политики России. Первая половина девятнадцатого века. М., 1995.
13. *Temperley H.* England and the Near East. The Crimea. London, 1936.
14. *Татищев С.С.* Внешняя политика императора Николая Первого. СПб., 1887.
15. Российский государственный архив древних актов.
16. *Зайончковский А.М.* Восточная война 1853–1856 г. в связи с современной ей политической обстановкой. СПб., 1908. Т. 1. Приложения.
17. *Виноградов В.Н.* Николай Первый в “крымской ловушке” // Новая и новейшая история. 1992. № 4.
18. *Виноградов В.Н.* Святые места и земные дела // Новая и новейшая история. 1983. № 5–6.
19. *Lane-Poole Gh.* The Life of Lord Stradford de Radcliff. London, 1890.
20. *Byrne L.* The Great Ambassador. Columbus, 1984. P. 291.
21. Enciclopedia Britannica. Chicago etc. 1960. Vol. 6.
22. The Cambridge History of British Foreign Policy. 1923. Vol. 2.
23. *Шелгунов Н.В.* Воспоминания. М.; Пг., 1923.
24. *Лященко Л.М.* Царь-освободитель. М., 1994.
25. *Боборыкин П.Д.* Воспоминания. М., 1965. Т. 1.
26. Канцлер Горчаков. М., 1998.
27. *Шербаков А.П.* Генерал-фельдмаршал князь Паскевич. СПб., 1899. Т. 6.
28. История дипломатии. М., 1941. Т. 1.
29. Международные отношения на Балканах 1856–1878. М., 1986.
30. *Татищев С.* Император Александр Второй. Его жизнь и царствование. М., 1999. Т. 1, 2.
31. Международные отношения на Балканах 1856–1878. М., 1986.
32. *Нарочницкая Л.И.* Россия и отмена нейтрализации Черного моря. М., 1989.
33. *Нарочницкая Л.И.* Россия и войны Пруссии в 60-е гг. 19 века за объединение Германии. М., 1960.
34. *Шнейерсон Л.М.* В преддверии франко-прусской войны. Минск, 1969.



© 2005 г. А.Д. ДУЛИЧЕНКО

## КАРПАТСКИЕ РУСИНЫ СЕГОДНЯ: НЕКОТОРЫЕ ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

На рубеже 80-х и 90-х годов XX в. из исторического забвения вновь вышли карпатские (resp. подкарпатские) русины. Хорошо известна причина, подтолкнувшая к этому, – социальная перестройка, вызвавшая волну этноязыкового возрождения в странах Восточной Европы. В славянском возрожденческом процессе с особой остротой проявил себя также и карпаторусинский вопрос. К некоторым аспектам этого процесса мы и обратимся в настоящей статье.

Все русины так или иначе связаны с Карпатами: то ли живут в карпатском регионе, то ли, переселившись в другие части Европы или же за океан, сохраняют связи и память о них. Сам карпатский регион в течение веков оказывался в различных социально-политических, административных и прочих сферах влияния, поэтому его называли то *Угорская Русь*, то *Подкарпатская Русь*, то *Карпатская Русь*.

Ныне русины проживают в исторических областях (Под)карпатской Руси (укр. *Карпатська Україна*, *Закарпатська Україна*, *Закарпаття*), Пряшевской Руси (укр. *Пряшівська Русь*) в Восточной Словакии; на юго-востоке Польши – в прилегающем к словацкой границе регионе, называемом *Лемковина* или *Лемковицина* (укр. *Лемківщина*); в отдельных деревнях в северной части Венгрии, а также в Румынии – в некоторых местах Маромороша; в бывшей Югославии (исторические области Бачка, Срем, Славония); с 80-х годов XIX в. формируется *Заокеанская*, или *Американская*, *Русь* в некоторых штатах США и в Канаде. Некоторое представление о расселении карпаторусин дает карта, составленная П.Р. Магочи в 1996 г. [1].

В современной украинистике русины определяются следующим образом: это «самоназвание украинцев западных регионов Украины – Галиции, Буковины, Закарпатья, представителей коренных этнических групп на территории Словакии, Румынии, Венгрии, а также переселенцев из Западной Украины в государства бывшей Югославии, в западной украинской диаспоре. Бытует также самоназвание “русини-укрїнці”. При всей исторической, культурной, языковой общности с украинским населением других регионов Украины они имеют региональные этнокультурные, диалектно-языковые особенности» [2. С. 115] (см. также: [3]).

О численности населения, называющего себя русинами, надежных статистических данных нет. Более всего этим вопросом занимался П.Р. Магочи, однако его данные, к сожалению, нередко противоречивы, что говорит и об объективных трудностях установления этнической принадлежности этой популяции. Тем не менее сравним, опираясь на публикации указанного автора за 1990-е годы, некоторые из имеющихся данных:

Годы публ.	Подкар. Русь (Укр.)	Пряш. Русь (Слов.)	Лемковина (Пол.)	бывш. Югославия	Венгрия	Румыния	Америка (США, Канада)	всего
1992	977000	130000	80000	30000	–	–	–	до 1,2 млн
1993	977000	130000	60000	30000	–	–	–	до 1,2 млн
1996а	600000–800000	100000	60000	30000	20000	3000	–	800000–1 млн
1996б	970000	130000	80000	30000	–	–	700000	1,2 млн

*Примечание:* данные за 1992 г. представлены по [4. С. 183]; за 1993 – [5. С. 809]; 1996а – [6. С. 64]; 1996б – [7. С. 7, 25, 38]; число американских русин подтверждается и более ранними публикациями (см., например, [8. С. 15]).

Очевидная противоречивость ряда данных заставляет усомниться в общей оценке численности русинского населения в современном мире, которая колеблется от 800000–1 млн до 1,2 млн чел. (в одной из последних работ П.Р. Магочи приводится уже цифра в 900000–1 млн (см.: [9. Р. 418]). Видимо, не случайно в вышедшей в конце 2002 г. “Энциклопедии русинской истории и культуры” П.Р. Магочи фактически избегает статистической характеристики русинских популяций в разных частях Европы [10].

Чешские источники для Подкарпатской Руси приводят цифру в 750000 чел. [11. С. 10]. Сравни 600000–800000 и даже 970000 у П.Р. Магочи. В упомянутом “Этническом справочнике”, вышедшем в Киеве в 1996 г., население, называющее себя русинами, в большинстве своем включено в статью “Лемки”. Общее число таких лемков определяется в 1 млн человек, из которых закарпатских – около 200000 плюс 230000–250000 лемков–переселенцев из Польши на Украину; в самой Польше – 100 000, в Словакии – 120000, в бывшей Югославии – 60000 (в эту цифру включены как собственно югославские русины, так и западноукраинские переселенцы в Боснию в начале XX в.), в США и Канаде – 200000, в Западной Европе и в Аргентине – 40000 [2. С. 73–75] (ср. здесь 100000 лемков Польши при 60000–80000 у П.Р. Магочи). Если в США и Канаде 200000 лемков-русин, то, следовательно, оставшееся количество (при общей численности в 700000 человек, по П.Р. Магочи) – это просто русины, карпатороссы, так называемые русские и т.д.

Перепись населения в Словакии, проходившая в 2002 г., дала возможность выявить следующую статистическую картину исторической Пряшевской Руси: к украинцам причислило себя 10814 чел., к русинам – 24201 чел., а к русинскому как родному языку – 54907 чел. [12. № 8–9. С. 2]. Если сравнить по этой переписи число говорящих по-русински – около 55 тыс. человек, то эта цифра более чем в два раза не совпадает с теми, что приведены в таблице. Таким образом, только современная перепись населения может дать более или менее приблизительную картину численного состава русин. Однако здесь возникает вопрос: будут ли, как это сделано в Словакии, дифференцированно представ-

лены украинцы и русины в переписях других стран? Ответ на него весьма проблематичен. А это значит, что численность и места проживания русинского населения даже в рамках общеукраинского этноса все еще будут оставаться своего рода *terra incognita* в юго-восточной части Центральной Европы.

**Этнонимическая и лингвонимическая составляющие карпаторусинской проблемы (с кратким экскурсом в историю).** Обратимся к рассмотрению двух словесных знаков, играющих решающую роль в самоидентификации любого народа, – к этнониму и соответствующему ему лингвониму. Эти знаки позволяют человеку и целому народу жить с постоянным внутренним сознанием принадлежности к тому или иному этническому и соответствующему ему языковому пространству. Для большинства ситуаций наличие такого внутреннего сознания совершенно очевидно, ср. *русские – русский язык, чехи – чешский язык* и т.д. В анализируемом нами случае все значительно сложнее: здесь в прошлом не было четкого сознания этноязыковой принадлежности, а потому этноним и соответствующий ему лингвоним воспринимались как ориентационные символы: их сознательно искали и выбирали из многих, их пытались осознать и закрепить за собою, но главное – стремились определить их пространственно-количественные и этноидеологические параметры. Этим поискам уже не один век, однако до сих пор здесь много неясного, проблематичного и остродискуссионного.

Вот далеко не полный перечень этнонимических символов, которыми наделялись русины в разные периоды их истории: *русины, руснаки и русняки, русские, карпатороссы, угророссы и угро-русские, закарпатские русские, венгерские русские и венгерские россияне, словакороссы, лемки и “лемаки”, рутены, украинцы*, ср. венг. *magyarország* ‘венгерские русские’, *kisorosz* ‘малорусские, малороссы’, *ruszin, rutün*; англ. *Rusnaks, Ruthenians, Lemkos, Carpatho-Rusians, Carpatho-Ukrainians, Carpatho-Rusyns* и под. В настоящее время многие из этих этнонимов уже не употребляются, но память о них все же сохраняется.

Доминирующие этнонимические символы – *руснаки и русины* (до недавнего времени и *русские*), а также *лемко* (мн. ч. *лемки*).

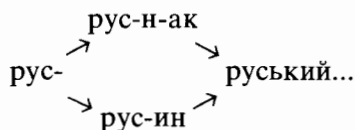
Этноним *русин* ведет свое начало еще от праславянской эпохи; он сохраняется уже в древнейших памятниках славянской письменности [13. С. 2; 14. С. 5–6]. Этноним *руснак* в области Карпат фиксируется лишь с XV–XVI вв. Непонятно, по каким причинам здесь не задержался этноним праславянского происхождения *русин* (собир. *русь*) и что вызвало его замену этнонимом *руснак* (женских форм три – *рускиня, русначка, руска*). Однако хорошо известно, что этноним *русин* вернулся в Карпаты: по одному предположению, из Галиции, по другому – через переселившихся сюда в XVII–XVIII вв. гуцулов. Этот этноним носит скорее всего книжный характер, в то время как *руснак* более частотен в употреблении и воспринимается как народное имя [15. С. 121–128].

Таким образом, к функционирующему этнониму *руснак* прибавляется еще один, родственный по происхождению, этноним *русин*.

С искусственным (resp. сознательным) внедрением этнонимического символа в народное сознание мы встречаемся у лемков Польши, которые традиционно использовали свой идентифицирующий этноним *руснак*, а также, позднее, *русин*. Однако в XVIII – первой половине XIX в. на лемковско-бойковском пограничье русин, употреблявших вместо словечек *тільки, лише* ‘только’ другое – *лем* (в том же значении), бойки стали называть *лемками*.

Это наименование достаточно быстро распространилось в период между двумя мировыми войнами в XX в. благодаря, по-видимому, культурной элите (ср. также названия издававшихся тогда журналов – “Лемко” москвофильской ориентации и “Наш Лемко” украинской ориентации). После Второй мировой войны этноним *лемко* фактически полностью вытеснил здесь этноним *руснак* (и *русин*), хотя это не значит, что лемки Польши перестали идентифицировать себя с украинцами-русинами [16. С. 81–82]; (см. также: [17. С. 2]). Как видим, смена этнонимического символа произошла здесь в течение приблизительно двух столетий, при этом важно подчеркнуть, что прозвище, данное соседями, со временем стало народным словом с существенным этноидентифицирующим содержанием. Прецеденты такого рода известны и в некоторых других регионах мира.

И вот здесь возникает любопытная ситуация, связанная с вопросом о соотношении этнонима и лингвонима: в устах народа, где бы он ни жил (у лемков Польши так же, но с некоторым налетом архаичности), книжный (или полукнижный) этноним *русин* и народный *руснак* имеют одинаковый адъективный дериват – *русский/русский/русский*, т.е.:



При образовании формы прилагательного от *русин* суффикс единичности *-ин* регулярно исчезает, ср. *рус-ин* → *рус(ь)кий*, *болгар-ин* → *болгарский*, *литв-ин* → *литовский* и под. Отсюда лингвоним *русский язык* или *русский язык*. В последнем случае можно допустить, однако, и своеобразное наложение уже готового адъектива, заимствованного из великорусского языка (ср. точку зрения О.Н. Трубочева, например, в: [18. С. 3–15]).

В этнониме *рус-н-ак* *-н-* можно квалифицировать как интерфикс; возможная форма прилагательного *руснац(ь)кий*, однако она употребляется редко. Прилагательное *русинс(ь)кий* воспринимается как книжное или полукнижное. Ср. такое высказывание: “Где-котори русскі люди называютъ себе Русинами (напримѣръ въ Галичинѣ), Руснаками (въ Буковинѣ) и Русняками (въ Угрии), отже именами, подобными до именъ: Татаринъ, Полякъ и т.д. Но сѣ названія не суть правильніи и отвѣдніи, бо такъ называемі Русины, Руснаки або Русняки не говорятъ русинскимъ, руснацкимъ або русняцкимъ языкомъ, а говорятъ лишь однимъ русскимъ языкомъ и сами кажутъ, що говорятъ русскимъ языкомъ або, коротко сказавши, по-русски” [19. С. VI].

Еще пример из поэтического произведения А. Духновича “Я русин был, есмь и буду”:

Я родился *русином*,  
*Русин* был мой отец, мати,  
*Русская* вся родина.  
*Русины* сестры и братья...  
 И кормился *русским* хлебом...  
*Русское* слово прорек.

Нетрудно заметить здесь соотношение книжного *русин* только с прилагательным *русский*. Такое адъективное распределение прокладывает мост от этнонимов *русин* ~ *руснак* к этнониму *русский*.



**Этнонимический корень как “возмутитель спокойствия”.** Преобладание в этнонимической символике корня *рус-* (а также его варианта *рос-*) вносит невероятную смуту в процесс этнической и языковой самоидентификации русин. Рассмотрим несколько характерных представлений, часть из которых актуальна еще и сейчас.

1) *Представление о карпатских русинах как о русских, а об их языке – как о русском (resp. великорусском).*

Эта точка зрения давняя и достаточно живуча. Вот характерный пример из статьи В.А. Францева за 1930 г.: “Имя о. Иоанна Раковского, как борца за русский язык, в истории угро-русской литературы второй половины XIX ст. и в деле упрочения в среде угро-русской интеллигенции национального *русского и славянского самосознания*, идеи принадлежности маленькой *подкарпатской ветви русского народа* к единой великой *русской семье* навсегда сохранит место почетное, не только рядом со всеми прочими защитниками этой идеи, но в некоторых отношениях и впереди их” (здесь и далее курсив в цитатах наш. – А.Д.) [20. С. 38].

А вот “этноязыковое кредо” из американского ежегодника-календаря на 1945 г. (по причине труднодоступности и уникальности издания приводим текст в оригинале): «... *my tvrdo povinny zapamjatati sebi, čto my čast' naroda russskoho. A jak my hovorime? Po russki. Jak hovorjat okolo L'vova, Stavislavova, okolo Užgoroda, okolo Prjaševa? – Po russki. A jak hovorjat okolo Kieva, Poltavu, Petrograda, v Sibiri? Po russki. – Vsjudu, na ciloj russskoj zemli, ot Karpat do Vladivostoka, hovorjat po russki. Jak hovorjat na Spišu, v Šarišu, v Zemplinskoj oblasti? Po russki. No ich jazyk rozličajetsja ot russskoho jazyka v Maramoroši i Beregi: toj jazyk otličajetsja ot russskoho jazyka v Galicii, galickij ot kievsskoho, kievsskij ot moskovsskoho – ot sibirsskoho. No každyj jest' russkij i každyj, kto odnim iz t'ich jazykov hovorit skažet: “Ja hovorju po russki”» [21].*

Крупнейший карпатовед Ф.Ф. Аристов в своем труде “Литературное развитие Подкарпатской (Угорской) Руси” (1928) пишет, что писатели Угорской Руси употребляют вместо чужих языков “родной русский язык” (цит. по [22. С. 30]). Его дочь, доктор исторических наук, спустя почти 70 лет после появления этого труда в предисловии к его переизданию пишет: “Однако ученый [Аристов] не дождал до полного издания его бессмертного труда в защиту *коренного русского населения* Галицкой, Угорской и Буковинской Руси, *называющегося также русичами, русинами, руснаками, карпатороссами* и ведущие свое этногенетическое происхождение от общего корня *Русь* ... В этой работе подробно рассмотрена деятельность незаурядных идейных борцов-подвижников, бессмертных патриотов, лидеров и участников *общерусского национально-культурного движения* в Карпатах, их мужественная борьба за *единую Русь, русский язык и литературу, за русскую православную веру, за право называться русскими* и вносить вклад в *общерусскую сокровищницу культуры*” [23. С. 5, 10].

2) *Карпато(русины), карпаторусские и русские – один народ и говорят они русским языком.*

Вот характерный пример рассуждений подобного рода из “Народного катехизиса”, изданного в Ужгороде в 1926 г.: “Мы принадлежим к *карпаторусскому народу*: мы *карпаторусский народ*. Можем ли мы называться *русинами*? Можем. Ибо *русский и русин значит то самое*. Какая ваша народность? *Русская*, ибо мы – *русский народ*. Великий ли *русский народ*? Да. *Всех русских* есть больше 100 миллионов ...” [24].

3) *“Мы, малороссы, – русские”*.

Сравни: «Но мы, коренные малороссы, заявляем: *мы не украинцы и не великороссы, мы просто русские*. Мы остаемся верными нашим предкам и не желаем отречься от великого и славного *русского имени*. Мы – *русские*, а в более тесном смысле – *малороссы*. Но малороссы в нашем понимании не особый самостоятельный народ, а только разновидность русского народа. Термин “малоросс”... служит для обозначения не народа, а только одной из ветвей народа, именующего себя народным именем “*русский*”, “*русин*”, “*руснак*» [25. С. 38].

4) *Есть русские и нет русин.*

Некто “*Russkij*” пишет в американском ежегоднике-календаре: «*Starajutsja sotvoriti novyj “Rusin people”, do slovarja Webster-a dobiti jesie odno novoje slovo ‘Rusin’ na usierb i ne na slavu ni sebe ni russkosti ... Iestnyj syn rusško-ho naroda na to ne pojdet*» [26. С. 83–84].

5) *Руський и русский/русский – не одно и то же.*

В многочисленных периодических изданиях 1920–1930-х годов (и позднее) пропагандируется модель, противопоставляющая эти две формы одного и того же прилагательного: *руський* – это представитель местного (нужно понимать, украинского) населения, в то время как *русский/русский* (с двумя “с”) – это велико- или общерусский, к чему причисляют себя и карпаторусины. Чтобы подчеркнуть свое этноидеологическое кредо, ужгородская газета “Свобода” в 1920-е годы даже писала слово *русский* с тремя “с”: *русский!* (см.: [27. С. 12]).

б) *Русины – это те же украинцы.*

Сравни точку зрения в современной украинистике, изложенную в начале настоящей статьи.

Можно было бы привести и другие представления русин о себе и о своем языке. Однако уже из того, что было показано, ясно: многие русинские культурные деятели вместо того, чтобы сосредоточить свое внимание на своем народе и определить пути его этно-культурно-языкового развития, и, в частности, найти место русин в общеукраинском контексте, манипулированием “магического” этнокорня *рус-* расширяли и растворяли свое этноязыковое пространство. Все это привносило и привносит известную путаницу и неразбериху.

**Русинское этноязыковое возрождение конца 80–90-х годов XX в.** Процесс возрождения охватил все регионы, где проживают русины. После Второй мировой войны в Закарпатской Украине, в Польше и других регионах население, традиционно называвшее себя русинами, было “переведено в украинцы”, т.е. официальным актом была произведена замена этнонимического и лингвонимического знаков: *русин* → *українець*, *русский язык* → *українська мова*. В Восточной Словакии (Пряшевская Русь) это процесс начался не во второй половине 1940-х годов, а к середине 1950-х, когда место русского языка в преподавании занял здесь украинский язык. Лишь в Югославии русины не порывали с традицией использования старого этнонима *руснак* (мн. ч. *руснаци*, *руснаки*) и лингвонима *руски язык* ‘русинский язык’; то же можно сказать и о той части русинского населения в Америке и Канаде, которая стояла на позициях “русинства”. Социальные события второй половины 1980-х – начала 1990-х годов всколыхнули историческую (и этническую) память у этого населения. Выступления в пользу воскрешения старого этнонима и лингвонима проходили в жесткой борьбе с теми, кто стоял на украинских позициях. По существу произошел раскол внутри некогда более или менее единого этно-культурно-языкового движения; обе стороны тут же вступили в острую полемику по поводу своей дальнейшей судьбы.

В Восточной Словакии “Культурный Союз украинских трудящихся” (“Культурний Союз українських трудящих”) в 1990 г. был реорганизован и переименован в “Союз русин-украинцев ЧСФР – Словакии” (“Союз русинів-українців ЧСФР – Словаччини”), однако и после этого из него вышли сторонники “чисто русинского” направления, создавшие в том же году свое общество под названием “Русинское возрождение” (“Русинська оброда”). Оба общества имеют периодические издания (из русинских – газета “Народны новинки”, журнал “Русин” и др.), к украинскому языку в школах и в университете прибавился теперь русинский; то же самое произошло на радио и телевидении. В поддержку нового направления создано “Объединение интеллигенции русин Словакии” (“Здружіння інтелігенції Русинів Словенська”, Братислава, с 1995 г.).

Украинские деятели культуры и науки Словакии русинское направление не приняли. Развернулась так называемая “брошюр(оч)ная война” – выпуск украинской пряшевской газетой “Нове життя” серии брошюр антирусинского содержания, в которых осуждается так называемая деукраинизация русин [28. С. 4], говорится о том, что “народец” русины был создан по проекту за рубежом, и т.д. [29. С. 7], и под. В других публикациях русинское движение называлось неорусинством, а его руководители неорусинами (см., например: [30. С. 56]). Кстати, заметим, что в Словакии, в Пряшеве, возродилось и русофильское “Культурно-просветительное общество им. А. Духновича”.

В Закарпатской Украине в 1990 г. возникло “Общество карпаторусин” (“Товариство/Общество карпатських Русинів”, Ужгород), которое противостоит ряду украински ориентированных обществ и периодических изданий. Карпаторусинских изданий выходит несколько, однако они в основном нерегулярны, например “Подкарпатська Русь”, “Християнська родина”, “Карпаторусский вестник”, “Отчий храм”, “Русинська бесіда” (все издаются в Ужгороде). Движение за карпаторусинский язык в Закарпатской Украине не столь успешно, как аналогичное движение в Восточной Словакии.

В Польше разъединение произошло в конце 1980-х – начале 1990-х годов: в 1989 г. организовано лемковско-русинское общество “Стоварышина Лемків” (г. Легница) с его печатным органом бюллетенем “Бесіда”; а в 1990 г. возникло “Объединение лемков Польши” (“Об’єднання лемків Польщі”, г. Горлиця). Аналогичное противостояние существует и между лемками США и Канады: с 1929 г. организованный в США “Лемко-Союз”, который стоит на антиукраинских позициях и выступает против “Организации защиты Лемковщины” (“Організація Оброни Лемківщини”, с 1936 г.), позднее преобразован в “Объединение лемков Канады” (“Об’єднання Лемків Канади”, с 1973 г.). Во Львове с 1988 г. функционирует общество “Лемківщина”, имеющее филиалы по всей Украине.

В 1991 г. в Венгрии, в Будапеште, создается “Организация русин Венгрии” (“Організація Русинів у Мадярську”), которая выпускает газету “Русинский Живот”. В последние годы администрация Будапешта издает также журнал “Вседержавный Русинский Вісник”.

Среди русин бывшей Югославии раскол в движении произошел еще в 20–30-е годы XX в., когда против проукраинской позиции “Русинского народного просветительного общества” (“Руске Народне Просвитне Дружтво”, г. Руски Керестур) выступил “Культурно-просветительный национальный союз югославских русин” (“Културно-просвитни націонални Союз югославянских Русинів”, г. Коцур, с 1933 г.). Правда, последний стоял также и на “общерусских позициях”.

В 1968 г. в Хорватии (бывшей тогда в составе Югославии) образовался “Союз русин и украинцев Хорватии” (“Союз Руснацох и Украинцох Горватскей”, Вуковар, ныне в Загребе), который отстаивал интересы обеих ориентаций. В начале 1990-х годов ситуация усложнилась: в Новом Саде был организован “Союз русин и украинцев Югославии” (“Союз Руснацох и Украинцох Югославиї”, 1990) – с украинской ориентацией, против которой вскоре же выступила возродившаяся “Русинская матица” (“Руска матка”, Руски Керестур, 1990; функционировала в 1945–1948 гг.). В таком противостоянии и протекает жизнь южнославянских русин.

В целом же, несмотря на ряд объективных, а также субъективных причин, русинские движения достигли уже определенных успехов. Сошлемся на важнейший компонент возрожденческого процесса – язык, его нормирование и кодификацию. В течение последних неполных полутора десятков лет в большинстве русинских регионов проведена работа по нормированию местной диалектной речи и выработке кодификационных правил. Так, первыми такую работу проделали восточнословацкие русины: в 1995 г. они официально кодифицировали нормы своего литературного языка, называемого *русиньским языком*, издали графико-орфографический справочник, содержащий и грамматические правила [31]. Показательно, что этих кодификационных установок придерживаются все периодические издания, выходящие в Восточной Словакии. Таким образом, можно говорить, что здесь постепенно стабилизируются лексические и грамматические нормы, хотя, разумеется, остается еще немало проблем.

Ситуация с языком в Закарпатской Украине носит пока достаточно хаотичный характер: там пишут и печатают, опираясь на разные представления о составе графики и правилах орфографии. В 1999 г. была издана нормативная грамматика [32]; в книге предлагается лингвоним *русинський язык*. Однако это движение, раздираемое внутренними противоречиями, еще далеко от выработки единых подходов к языковому планированию и кодификации норм.

В 2002 г. получили нормативную грамматику лемки Польши, называющие свой язык *лемківський язык*, *лемковско-русинський язык* [33]. Нужно сказать, что здесь, как и в случае с восточнословацкими русинами, нормы постепенно стабилизируются. В Венгрии (а также в Румынии) нормативная работа пока не проводится (в Венгрии язык называют *русинський язык*). Что касается южнославянских русин, то нормативный язык у них функционирует с 1923 г., когда вышла их первая грамматика [34]. Обновленная кодификация появилась лишь после Второй мировой войны – сначала в школьных учебниках родного языка 1960-х годов М.М. Кочиша, затем в его же справочнике по орфографии и в посмертно изданной грамматике [35; 36]; здесь употребляется лингвоним *руски язык* (подробно о состоянии норм и кодификаций в рассматриваемых русинских регионах см.: [37. С. 14–32]; в целом о языковой ситуации в Подкарпатской Руси см., например: [38; 39. С. 82–90; 40. С. 1–17]).

Таким образом, сформировался феномен, который мы бы обозначили как *lingua ruthenica*, выступающий в нескольких вариантах – закарпатскоукраинском, восточнословацком, польско-лемковском, венгерском, южнославянском. К этому следовало бы добавить и угасающий вариант в Америке, обозначаемый лингвонимами *карпаторусский язык / karpatorusskij jazyk*, *русский язык / russkij jazyk* и др. Каждый из этих вариантов обладает определенной автономностью, т.е. функционирует в разных социально-политических, административных, географических и пр. условиях, и опирается на разные диалект-

ные основы. С 1991 г. деятели карпаторусинской ориентации регулярно проводят всемирные конгрессы русин (первый такой конгресс состоялся в Словакии в Медзилаборцах в 1991 г.), на которых обсуждаются вопросы, важные для движений в каждой стране. Важно также напомнить об организации и функционировании кафедры русинской филологии в Новосадском университете, кафедры русинской и украинской филологии в Высшей педагогической школе в Ньиредьхазе (Венгрия), а также отделения русинского языка и литературы в Пряшевском университете (Словакия).

Непримиримость двух этноязыковых ориентаций не ослабевает: попытки как-то сблизить позиции всячески отвергаются преимущественно русинской стороной. Деятели украинской ориентации неоднократно предлагали объединение позиций русин и украинцев. В частности, они настаивают на применении “дефисного этнонима” – русины-украинцы или украинцы-русины (ср., например, статью М. Мушинки с характерным названием [41. С. 26–31]). Это вызывает болезненную реакцию противостоящей стороны (ср. статью В. Феденишинца с подзаголовком “Русини-українці, або русини через дефіс” [42]).

Пряшевский языковед В. Ябур так начинает одну из своих лингвистических работ: “Я – Русин. Русин без споевника (без дефиса или союза *и*. – *А.Д.*), без ломки и без апозиції (т. зв. не Русин-Українець респ. Русин /Українець)” [43. С. 2]. Протестуют против такого этнонимического синтеза и лемки Польши: “А бесідуєт не Лемки-Українці, Русини-Українці, Українці і, што важне – сами Лемки” [44. С. 13]. Таково же отношение и восточнословацких русин к этой идее: “пан Калина виділює іщі далшу групу обчанів Словенська т. зв. русиньско-української народности. Т. зв. зато, бо такой народности де факто и де юре на Словенську ніт, такой історії и культури на Словенську не є, а не є ани чістих або нечістих Українців. Суть лем Українці, а суть лет Русини” [12. № 4–5. С. 4].

К настоящему времени нет выхода из ситуации этноязыкового разделения украинцев и русин. Не видно и глобального решения русинской проблемы – скорее всего, ключ к ее решению так никогда и не будет найден. Показательна в этом отношении метафора-параллель с судьбой другого народа, разъединенного разными странами: “карпато-русини региона – это курды в центре Европы” [45. С. 315].

#### СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Carpatho-Rusyn settlement at the outset of the 20th century with additional data from 1881 and 1806. Toronto, 1996.
2. Етнічний довідник. Етнічні меншини в Україні. Київ, 1996.
3. Українські Карпати. Матеріали міжнародної конференції “Українські Карпати: етнос, історія, культура” (Ужгород, 26 серпня – 1 вересня 1991 р.). Ужгород, 1993.
4. *Magocsi P.R.* Karpatskí Rusíni: súčasný stav a perspektívy v budúcnosti // *Slovenský národopis*. Bratislava, 1992. Roč. 40. Č. 2.
5. *Magocsi P.R.* Die Russinen: Ihr gegenwärtiger Status und ihre Zukunftsperspektiven. Osteuropa. Stuttgart, 1993.
6. *Magocsi P.R.* The Rusyn language question revisited // *International Journal of the sociology of language*. Berlin; New York, 1996. Vol. 120.
7. *Magocsi P.R.* Rusíni a jejich vlast. (Podkarpatská Rus. Sv. 13). Praha, 1996.
8. *Magocsi P.R.* The Carpatho-Rusyn Americans. New York; Philadelphia, 1989.
9. *Magocsi P.R.* Une nouvelle nationalité slave: les Ruthènes de l'Europe du Centre-Est // *Révue des études slaves*. Paris, 1997. T. 69. Fasc. 1–2.
10. *Encyclopedia of Rusyn History and Culture* / Ed. by P. R. Magocsi and I. Pop. Toronto; Buffalo; London, 2002.

11. Podkarpatsko včera a dnes. (Podkarpatská Rus. Sv. 4). Praha, 1994.
12. Народны новинкы. Пряшів, 2002.
13. Геровский Г. О слове “русин” // Свободное слово Карпатской Руси. Mount Vernon (N. Y.), 1972 [1973]. № 1–2 (169–170).
14. Геровский Г. О слове “русин” // Путиами истории. Общерусское национальное, духовное и культурное единство на основании данных науки и жизни. Нью Йорк, 1977. Т. 1.
15. Чучка П. Етноіми **русин** та **руснак** і їх деривати в південнокарпатських говорах // Наукові записки Союзу русинів-українців Словацької Республіки. Пряшів, 1993. № 18.
16. Дуць-Файфер О. Лемки в Польщі // The Persistence of regional culture. Rusyns and Ukrainians in their Carpathian homeland and abroad / Ed. by P. R. Magocsi. (East European monographs, CCCLXV). New York, 1993.
17. II конгрес Стоваришныя Лемків. Лігница, 1994.
18. Трубочев О.Н. Из исследований по праславянскому словообразованию: генезис модели на \*-*žnǫpъ*, \*-*janǫpъ* // Этимология 1980. М., 1982.
19. Наша родина. Иллюстрированный сборник для простонародного читання. Нью Йорк; Берлин, 1924.
20. Францев В.А. Из истории борьбы за русский литературный язык в Подкарпатской Руси в половине XIX ст. // Карпаторусский сборник. Подкарпатская Русь в честь президента Т.Г. Масарика. 1850–1930. Ужгород, 1930.
21. Karpatorusskij Narodnyj Kalendar' na hod 1945. Perth Amboy, [1944].
22. Аристов Ф.Ф. Литературное развитие Подкарпатской (Угорской) Руси. М., 1995.
23. Аристова Т.Ф. Федор Федорович Аристов и карпаторусская проблема // Аристов Ф.Ф. Литературное развитие Подкарпатской (Угорской) Руси. М., 1995.
24. Народный катехизис. Ужгород, 1926.
25. Панас И.О. К вопросу о русском национальном имени. (По поводу меморандума галицких украинофилов о замене народного имени “русин” термином “украинец”). Ужгород, 1934.
26. Russkij. “Rusin” (Ruthenian). Kalendar' Greko Kaft. Sojedinenija v S. Š. A. Hod izdaniija XLVIII – 1943. Б. м., [1942].
27. Зоркий Н. 1. Спор о языке в Подкарпатской Руси и чешская Академия Наук. 2. Как освещает д-р Иван Панькевич чешскую публику о наших языковых делах. Ужгород, 1926.
28. Мушинка М. Політичний русинізм на практиці. (Додаток до газети “Нове життя”. Ч. 47–48 / 1991). Пряшів, 1991.
29. Гостиняк С. Про “четвертый” східнослов'янський народ та про плачені вигадки й нісенітниці купки комедіантів. (Додаток до газети “Нове життя”. Ч. 33 / 1992). Пряшів, 1992.
30. Бача Ю. и др. “Карпаторусинство”: історія і сучасність. Київ, 1994.
31. Правила русинського правопису. I часть. Пряшів, 1994.
32. Керча І., Попович С. Материнський язык. Писемниця русинського языка. Мукачово, 1999.
33. Фонтаньски Х., Хомяк М. Граматыка лемківського языка. Katowice, 2000.
34. Костельник Г. Граматика бачваньско-рускей бешеди. Сремски Карловци, 1923.
35. Кочиш М.М. Правопис руского языка. Нови Сад, 1971.
36. Кочиш М.М. Граматика руского языка. I. Нови Сад, 1974.
37. Дуличенко А.Д. Литературные микроязыки современной Славии: проблемы кодификации и языковая практика // Möglichkeiten und Grenzen der Standardisierung slavischer Schriftsprachen in der Gegenwart. Dresden, 2002.
38. Magocsi P.R. The Language Question Among the Subcarpathian Rusyns. New Jersey, 1987.
39. Магочий П.Р. Формування національної самосвідомості: Підкарпатська Русь (1848–1948). Ужгород, 1994.
40. Duliienko A.D. Carpatho-Rusyn in the Context of Regional Literary Languages of the Contemporary Slavic World // A New Slavic Language Is Born. The Rusyn Literary Language of Slovakia / Ed. by P.R. Magocsi. With an introduction by N. I. Tolstoi. (East European monographs, CDXXXIV). New York, 1996.
41. Мушинка М. Національна група русинів-українців у Словаччині. Дукля;Пряшів, 1992. № 3.
42. Фединишинець В. Я – русин, мій син – русин... // Закарпатська правда. Ужгород, 1990. 16 серпня.
43. Ябур В. Русинський язык на Словеньску. (Став про кодифікації і перспективи розвитку) // Русин. Пряшів, 2000. № 1–2.
44. Бесіда. Крениця. 1990, № 3–4.
45. Фэдынышынец В. Я есмь вечный русын. Историко-философские эссе. Ужгород, 1995.



© 2005 г. Л.П. МАРНЕЙ

ОСОБЕННОСТИ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ  
И КОРОЛЕВСТВА ПОЛЬСКОГО В 20-Е ГОДЫ XIX ВЕКА

Расширение границ Европейской части Российской империи за счет включения в ее состав Финляндии, Бессарабии, части земель бывшего Княжества Варшавского привело к необходимости разработки новых принципов их экономического объединения с Россией. Процесс этот шел довольно сложно, так как каждая из вновь присоединенных территорий имела свои прочные торговые связи. И хотя европейские войны начала XIX в. повлияли на изменение направлений товаропотоков, тем не менее основным торговым партнером России по-прежнему оставалась Англия, в то время как торговля Королевства Польского, в основном, была ориентирована на Пруссию и в меньшей степени на Австрию [1. С. 27]. Решения Венского конгресса<sup>1</sup> поставили перед правительствами Российской империи и Царства Польского задачу налаживания более прочных торговых связей. До конца 1819 г. необходимо было определить нужна ли общая таможенная граница или нет, каким образом организовать таможенное управление, а самое главное – разработать и подписать новый тариф. Решение последней задачи зависело как от внешних, так и ряда внутренних факторов, и в первую очередь, от того, представители какого направления одержат верх в правительствах Российской империи и Королевства Польского: защитники свободной торговли или протекционисты. Странники этих направлений оказывали существенное влияние на решения двусторонних комиссий, призванных улаживать противоречия в проводимой торговой политике.

Ключевые проблемы торгово-экономических отношений России и Королевства Польского рассматривались как в российской, так и в польской историографии [1; 3–17]. Вместе с тем источники по этой теме, в том числе и впервые опубликованные [18], позволяют лучше понять условия, в которых происходило обсуждение основных принципов торговой политики, дать оценку факторам, влиявшим на принимаемые решения, охарактеризовать причины, по которым произошел переход от политики свободной торговли к протекционизму, определить, что было общего и что отличало организацию таможенного управления русского и польского правительств в период с 1819 по 1822 г.<sup>2</sup> Россия и Ко-

Марней Людмила Петровна – канд. ист. наук, научный сотрудник Института славяноведения РАН.

<sup>1</sup> Россия, Австрия и Пруссия должны были создать условия для беспрепятственной торговли “в пределах всего прежнего Королевства Польского (как оно было до 1772 г.)” [2. Т. 3. С. 346].

<sup>2</sup> Основные проблемы торговой политики России и Королевства Польского в предшествующий период рассмотрены в работе Марней Л.П. “Торговая политика России и Королевства Польского после Венского конгресса, 1815–1819 годы” // Славяноведение. 2001. № 3.

ролевство Польское приступили к подготовке новых таможенных правил с 14 февраля 1819 г. В этот день была создана Комиссия таможенных и торговых дел, главная задача которой состояла в том, чтобы составить общий тариф для Российской империи и Королевства Польского и подготовить предложения по организации новой системы таможенного управления<sup>3</sup>.

3 октября 1819 г. увидел свет указ “Об установлении полной свободы в торговых сношениях между подданными Империи Всероссийской и Царства Польского”. В этом документе говорилось, что “сырые произведения”, предназначенные “для внутреннего употребления”, надо пропускать свободно, не требуя свидетельств о происхождении и не взимая пошлин. Мануфактурные и фабричные изделия, произведения искусств, художеств и ремесел должны были быть снабжены “свидетельствами местных начальств... Товары и изделия, обработанные из собственных сырых произведений... пропускать без взимания пошлин”. Кроме того, купечеству разрешалось записываться в гильдии и пользоваться всеми правами, предписанными для жителей Королевства и Российской империи. “При переезде верноподданных... Империи Всероссийской и Царства Польского всех состояний как туда, так и обратно не требовать никаких других паспортов или видов, кроме тех, какие выдаются при переезде или переходе из одной внутренней губернии в другую”. Также отмечалось, что необходимо учредить в удобнейших местах по взаимному соглашению министра финансов с правительством Царства “взимание отпускных пошлин с произведений Российской Империи, перевозимых через Царство Польское для отпуска за границу как по рекам, так и сухопутно” [19. Т. 36. № 27938. С. 350–352].

Указом 20 ноября 1819 г. был издан “Общий тариф для всех портовых и сухопутных таможен Российской Империи и Царства Польского по Европейской торговле” [19. Т. 36. № 27988. С. 383–385; № 27987. С. 382–383; Т. 37. № 28352. С. 389; Т. 45. Книга тарифов. С. 37–57, 71–90]. Величина пошлины в соответствии с заключенными ранее с Австрией<sup>4</sup> и Пруссией<sup>5</sup> трактатами не могла превышать 10% с цены. Поэтому на товары, которые разрешалось ввозить и продавать на внутреннем рынке, вводился консомационный сбор в размере 60% [20. С. 141]. Взиматься он должен был вместе с привозной пошлиной “без разделения” [19. Т. 36. № 27988. С. 383]<sup>6</sup>. По новому тарифу облагалась не цена товаров, а их мера, вес и количество. Новые правила призва-

---

<sup>3</sup> Председателем комиссии был назначен М.А. Обресков – директор Департамента внешней торговли, членами: действительные статские советники Я.А. Дружинин, Н.П. Лобри и Ф.Г. Вирст, рефендарий Государственного совета Королевства Польского Грайбнер, генеральный директор польских таможен Кригер [11. С. 227]. Деятельность комиссии продолжалась до 1827 г. [12. С. 308].

<sup>4</sup> Конвенция от 5 августа 1818 г. [19. Т. 35. № 27453. С. 413–418].

<sup>5</sup> Конвенция от 7 декабря 1818 г. [19. Т. 35. № 27586. С. 625–637].

<sup>6</sup> Это положение не учитывало пожелания польского правительства, высказанные комитету от 3 октября 1819 г., о том, “чтобы в тарифе для Царства Польского... сделано было разделение пошлины ввозной от консомационной, хотя в тарифе российском обе сии пошлины означатся в одной черте без разделения” [21. 299. S. 86–87] (см. также [12. С. 313]). Комитет был образован на основании указа Александра I от 3 октября 1819 г. В него вошли председатель – Н.Н. Новосильцев, министр статс-секретарь граф И.В. Соболевский, министр финансов Королевства Польского Я. Венглинский; начальник Правления российских таможенных и торговых дел в Королевстве Польском генерал-майор А.Я. Ланг, чиновники Министерства финансов, действительные статские советники: Л.С. Байков и Ф.Г. Вирст, рефендарий Государственного совета Королевства Польского Грайбнер [21. 299. S. 363–364].



ны были способствовать улучшению организации подобной операции и значительно уменьшить возможность злоупотреблений [9. С. 475], не допустить нанесения ущерба государственным доходам.

Опубликование нового тарифа имело ряд негативных моментов. Во-первых, правительство нарушило обещание, данное купечеству в 1816 г., не разрешать привоза большинства промышленных изделий ранее, чем через 12 лет [3. С. 185]. Во-вторых, проведение в жизнь принципов свободной торговли негативным образом сказалось на российской промышленности, находящейся в этот период на грани гибели [8. С. XXX; 12. С. 314–315; 13. С. 103–104; 14. С. 69; 22. С. 51].

Подобная ситуация не осталась без внимания министра финансов Д.А. Гурьева, который в записке, поданной 12 августа 1821 г. на имя царя, высказывался о необходимости возвращения к покровительственной системе [18. Серия 2. Т. 4 (12). Прим. 167. С. 669–671]. Затем записка была расширена, дополнена и представлена на суд специального комитета 19 ноября 1821 г. [18. Серия 2. Т. 4 (12). Док. 130. С. 361–365]. В ней министр, в частности, отмечал, что сторонники свободы торговли ссылаются на опыт Англии и Пруссии, которые не вводили “почти никаких запретов”. Между тем Англия, писал Гурьев, в действительности стремилась “подчинить себе торговлю всех стран”, поэтому “ее порты и склады” не могли быть “закрытыми для каких бы то ни было товаров”. Те товары, потребление которых она не желала у себя допускать, облагались “ввозными пошлинами, составляющими от 50 до 96% их стоимости”. Надежной гарантией от контрабандной торговли являлись: островное положение Великобритании, большое количество у нее военных кораблей, а также Навигационный акт, согласно которому “все товары, от уплаты пошлин на которые можно под каким-либо предлогом уклониться”, ввозились только на английских судах<sup>7</sup>. В Пруссии, замечал далее Гурьев, купец, ввозивший товары в страну и уплативший незначительную пошлину, не получал права свободно ими распоряжаться. Товары пломбировали и отправляли в сбытовую контору города, указанного их владельцем; они оставались там до тех пор, пока владелец не изымал их сразу или по частям, однако при этом он должен был сказать, как он намерен поступить с ними. В случае их “потребления внутри страны” он уплачивал консомационные сборы, если же вывозил в другую страну, то не должен был ничего платить, а только объявить, “через какой пограничный пункт он хочет вывезти товары”. Тогда “сбытовая контора пломбирует их и следит за тем, чтобы они действительно были предъявлены той пограничной таможне, через которую они подлежат вывозу”. Во Франции и Австрии, подчеркивал далее Гурьев, также имелся весьма обширный список запрещенных к ввозу товаров. Анализ таможенной политики европейских государств показал, что, разрабатывая соответствующий тариф, необходимо создать условия отечественной промышленности, при которых она могла бы “успешно конкурировать с иностранной”, а также “примирить ... противоположные интересы сельских хозяев, фабрикантов, купечества и потребителей”.

<sup>7</sup> В 1822 г. Англия сделала некоторые отступления от Навигационного акта. России, наряду с другими странами, было разрешено ввозить на своих судах в британские порты “собственные произведения” [23. Вып. 2. С. 8].

Министр финансов предлагал разделить ввозимые товары на четыре категории. Товары первой необходимости подлежали освобождению от пошлин. Вторую категорию, облагаемую умеренной пошлиной, составили товары, необходимые “в настоящее время” или полезные “для ... промышленности”, производство которых можно было наладить в будущем или вовсе “заменить местными товарами”. С предметов роскоши и галантерейных товаров (третья категория) считалось возможным взимать значительные пошлины. В четвертую категорию попали запрещенные к ввозу товары, наносящие “ущерб как... благосостоянию, так и развитию... мануфактурной промышленности и торговли” [18. Серия 2. Т. 4 (12). Док. 129. С. 347–361]<sup>8</sup>.

Далее Гурьев отмечал, что необходимо договориться с Пруссией об изменении торговых соглашений, невыгодных для России. По утверждению министра финансов, в этом была заинтересована и польская сторона (см.: [11. С. 232–233; 16. S. 31]). Двухлетний опыт деятельности Главного управления торговых и таможенных дел в Варшаве “показал, что из-за существующих ныне порядков их урегулирования и способов ведения торговли в Царстве Польском наносится ущерб казне Империи и создаются помехи и препятствия для регулярной торговли” [18. Серия 2. Т. 4 (12). Прим. 170. С. 672]. Выход из этой ситуации министр финансов видел в том, чтобы упразднить таможни и Главное управление в Царстве Польском, установить пограничную линию “между Империей и Царством”, отменить поощрительные премии на товары, привозимые с варшавских ярмарок, а также взимать пошлины с ввозимых и вывозимых товаров в соответствии с тарифом “независимо от их происхождения” [18. Серия 2. Т. 4 (12). Прим. 170. С. 676]. Он также предлагал увеличить в 1821 г. консомационные пошлины на шелковые ткани, иностранный ром, коньяк, арак, водку, портер, пиво, сахар и кофе [21. 302. S. 251–259; 262–268; 269–275].

Взгляды министра финансов на положение, в котором оказались российские торговля и промышленность вследствие введения тарифа 1819 г., обсуждались на заседаниях специального комитета, призванного рассмотреть сложившуюся ситуацию “и изыскать способы предотвратить пагубные последствия, которые можно предвидеть при существующем порядке вещей”. Участники его предложили: “вновь ввести некоторые запреты”; разграничить управление между таможнями российскими и Царства Польского; в будущем “не разрешать транзит иностранных сукон для продажи в Азии”<sup>9</sup>.

Значение тарифа 1819 г. для Королевства Польского было двояким. С одной стороны, “благодетельные последствия этого не замедлили сказаться, русские купцы закупали еще на станках сукно”, вырабатываемое здесь. “Иностранные мастера, видя выгодное положение” польской промышленности, стали стекаться в страну. Автор статьи в “Gazeta Correspondenta” отмечал, что “Польша может скоро стать для России тем, чем является Англия для Европы” (цит. по: [12. С. 213]). Прядильщики и ткачи, которые не могли сбыть изделия у себя на родине, устремились в Королевство. Иммигранты

<sup>8</sup> Как полагал П.Б. Струве, разделение товаров на четыре класса демонстрировало, что правительство всгупило на путь экономического протекционизма. В основе этого лежало стремление сохранить существующие и развивать вновь создаваемые отрасли национальной промышленности [5. С. 165–166].

<sup>9</sup> Во вновь созданный комитет вошли: В.П. Кочубей, Д.А. Гурьев, М.М. Сперанский, К.В. Нессельроде, И.А. Каподистрия [18. Серия 2. Т. 4 (12). Док. 130. С. 361–365].

приносили с собой знания, капиталы, технику, способствуя закладке прочного фундамента польской промышленности [5. С. 161; 6. С. 113–114; 12. С. 216; 24. С. 420]. С другой стороны, введение единой таможенной границы, а также открытие таможен в Юрбурге и Палангене с Пруссией и в Радзивилове с Австрией привело к тому, что количество иностранных купцов, желающих принять участие в варшавских ярмарках, резко сократилось [25. С. 62, 133–134; См. также: 11. С. 76]<sup>10</sup>.

Таким образом, проведение в жизнь новых таможенных правил показало, что они не всегда соответствовали интересам экономического развития России и Королевства Польского [16. С. 33, 38]<sup>11</sup>. Свобода торговли могла отрицательно сказаться на промышленности. Поэтому правительствам приходилось выбирать либо фритредерство и невмешательство в торгово-промышленные дела, либо протекционизм и политику стимулирования отечественной промышленности [11. С. 90]. Выбор был сделан в пользу последнего принципа [13. С. 30; 27. С. 636]. Реализовать эти идеи на практике было возможно в случае пересмотра конвенции, заключенной с Пруссией, и изменения основных положений либерального тарифа 1819 г.

<sup>10</sup> Не поддержало ярмарки поручение начальнику Главного управления российских таможен обращаться “особенное попечение на действия и успехи варшавской ярмарки”, так как она “имеет обширное и полезное влияние на успехи российской сухопутной торговли в Азии” [19. Т. 36. № 28030. С. 486], а также положения указа от 3 октября 1819 г., в котором говорилось: “Для... усиления и поощрения торговли на ярмарках варшавских со всех иностранных товаров, провозимых с сих ярмарок в пределы Империи, в продолжение трех лет делать уступку в установленных по тарифу пошлинах, при платеже оных в Варшаве в Главной российской таможене по 10 коп. с пошлинного рубля, а при платеже сей пошлины во внутренних российских таможах по 5 копеек” [19. Т. 36. № 27938. С. 352]. В феврале 1821 г. уступка увеличивалась до 20 коп. с рубля [19. Т. 37. № 28553. С. 620–621; 18. Серия 2. Т. 4(12). Прим. 170. С. 671; 21. 302. С. 334–341]. 29 февраля 1820 г. на Административном совете Н.Н. Новосильцев предложил ограничить свободы иностранных участников варшавских ярмарок только территорией Варшавы и не освобождать их от уплаты консомационных пошлин. Возражения Т. Мостовского – министра внутренних дел и полиции, приверженца либеральной политики [25. С. 61], считавшего, что подобные меры приведут ярмарки к упадку, не были учтены [11. С. 231–232]. Против позиции Мостовского выступали и варшавские купцы, которые в докладной записке от 17 января 1821 г., поданной в Комиссию внутренних дел и полиции, отмечали, что руководящую роль в ввозной и вывозной торговле захватили иностранцы (немцы). Широкое распространение получили иностранные товары в ущерб отечественным, спрос на которые несколько не повысился. Польские купцы “оказались лишенными возможности выписывать иностранные товары в другое время года, кроме ярмарочного срока”. Объяснялось это тем, что “разница на пошлине превышала в два и даже три раза ту прибыль, которую купец мог получить” в том случае, если выписывал товар в другое время. “Цены всех товаров устанавливались применительно к ярмарочным пошлинам”. Поэтому купцы вынуждены были “выписывать иностранные товары два раза в год во время ярмарок и ... большими партиями”. Это неблагоприятно “отражалось на польской торговле, так как приходилось держать наготове большие суммы”, а кроме того, “потребность в деньгах испытывали одновременно все купцы” [12. С. 202–203]. 30 августа 1822 г. Ф.К. Любецкий внес на заседание Административного совета предложение об изменении статуса варшавских ярмарок. Поддержка наместника способствовала тому, что проект был принят, и уже осенью 1822 г. со всех импортных товаров, прибывавших на ярмарку, взимался полный таможенный сбор [11. С. 98].

<sup>11</sup> Кроме того, в 1819 г. Англия, основной торговый партнер России, переживала очередной кризис, вызванный “высоким ввозом хлеба и соответствующим вывозом золота в 1818 г.” [26. С. 17].

В постскрипуме циркулярной депеши дипломатическим представителям за границей от 23 марта 1822 г. управляющий Министерством иностранных дел К.В. Нессельроде констатировал, что в заключенную 5 августа 1818 г. торговую конвенцию с Австрией русское правительство не требует внесения каких-либо изменений и будет соблюдать ее “со всею точностью” [18. Серия 2. Т. 4 (12). Док. 162. С. 466]. Что касалось Пруссии, то в депеше отмечалось, что “дополнительный акт от 7 декабря (1818 г. – *МЛ.*), этот плод благородной верности обязательствам, обременительным для обеих сторон, был от начала и до конца лишь обоюдною жертвой”. Далее он, не отрицая взаимных выгод от свободы торговли, если этот принцип распространялся бы на все европейские государства, отмечал, что Англия, Франция, Австрия, Пруссия либо вернулись, либо возвращались в русло запретительной системы, и лишь Россия оставляла “свои обширные рынки открытыми для стран, закрывающих ей свои”. Это привело к упаду сельского хозяйства, промышленности, морской торговли, утечке за границу находящейся в обращении звонкой монеты [18. Серия 2. Т. 4 (12). Док. 138. С. 392–393]. В этих условиях сохранение действующих правил внешней торговли нанесло бы урон “благосостоянию частных лиц”, отозвалось “на общественном благосостоянии” [18. Серия 2. Т. 4 (12). Док. 162. С. 465] (см. также [10. С. 305–306; 12. С. 214–215]).

Вопрос о транзите прусского сукна в Азию был камнем преткновения на российско-прусских переговорах. Оживление транзитного торгового было напрямую связано с договоренностями на Венском конгрессе и последующими соглашениями. В соответствии с коммерческой конвенцией от 7 декабря 1818 г., российский император обещал “транзитный провоз прусских сукон в Азию оставить при взимаемых... пошлинах по 12 копеек с аршина, а за то, что свыше пошлины, требовать... только одно поручительство”. Правительства должны были договориться “о средствах к предупреждению злоупотреблений и подлогов по сей торговле, не причиняя, однакож, ей никаких препятствий или затруднений” [1. Т. 7. С. 355] (см. также: [19. Т. 35. № 27374. С. 294]). Подобные льготы действовали недолго. В именном указе министру финансов от 12 марта 1822 г., регламентировавшем ввоз изделий прусских фабрик, отмечалось, что и эти преимущества завершаются в 1822 г.<sup>12</sup> К этому времени российское правительство надеялось договориться с Пруссией о принципах взаимных торговых отношений в будущем [4. С. 51]; (см. также [3. Приложения. С. 82]). Такое ограничение, наряду с запрещением привоза большого количества прусских товаров, являлось по сути своей нарушением конвенции [10. С. 306], согласно которой нельзя было повысить привозные и консоммационные пошлины на прусские льняные, шерстяные и кожаные изделия, а также “наложить запрещение” на транзитную торговлю без предварительной договоренности с Королем Прусским [2. Т. 7. С. 344, 346].

Обострение отношений между Россией и Пруссией наступило после введения нового регламента внешней торговли Королевства от 31 июля 1821 г. [18. Серия 2. Т. 4 (12). Прим. 181. С. 683; 1. С. 18] и нового прусского тамо-

---

<sup>12</sup> Изделий льняных и пеньковых разрешалось ввозить не более 500 пудов “чистого веса, за исключением тары”. Шерстяных изделий – 7 тыс. пудов “чистого веса. Кожаных на сумму по фактурным ценам не свыше одного миллиона рублей ассигнациями”. Транзит сукна не должен был превышать 600 тыс. аршин [19. Т. 38. № 28967. С. 110, № 28982. С. 129] (см. также [16. С. 39]).

женного тарифа [28. 1821. № 15. S. 165–184] от 25 октября того же года. В первом документе говорилось о том, что ввозить колониальные товары и напитки можно только водным путем. Во втором ввозные пошлины на традиционные товары экспорта России и Королевства в Пруссию были увеличены в 3–4 раза. Подобное повышение особенно чувствительно должно было отразиться на положении сельскохозяйственной промышленности Королевства и Литвы. По мнению петербургского двора, это означало, что Пруссия возвращается к системе запретительных тарифов и нарушает торговую конвенцию от 7 декабря 1818 г. [2. Т. 7. С. 331–369]. Кроме того, в министерствах внутренних дел и финансов Королевства Польского считали, что Пруссия нарушает не только условия указанной конвенции, но и договоры, подписанные на Венском конгрессе о свободе навигации по рекам и каналам, о едином торговом пространстве в границах 1772 г., об использовании портов Гданьска (Данцига), Эльбинга, Кенигсберга и Мемеля для транзитной торговли с другими странами и др. Укрепить позицию России на переговорах с Пруссией о пересмотре конвенции должно было заявление о том, что будут увеличены транзитные пошлины на провозимые через Королевство и Россию прусские товары и введен запрет на ввоз как в Королевство, так и в Империю готовых изделий прусской промышленности [18. Серия 2. Т. 4 (12). Прим. 180. С. 683]. Министр финансов Королевства Польского князь Ф.К. Любецкий, пользовавшийся большим доверием Александра I [27. С. 630–631, 634, 640–641], обрисовал императору все губительные последствия нового прусского тарифа и ходатайствовал о том, чтобы при заключении торгового договора с Пруссией были приняты во внимание и интересы польской стороны. Любецкий считал необходимым предусмотреть меры, облегчавшие перевозку польских товаров в российские порты, расположенные на Балтийском море. Он обосновал необходимость постройки каналов к балтийским портам и энергично взялся за проведение топографической съемки для определения трассы двух из них [29. S. 56–59]. Первый должен был соединить приток Вислы Нарев с Неманом, а второй – Неман с Аа, впадающий в море в окрестностях Риги. Подобные демарши сделали бы Пруссию, по его мнению, более сговорчивой на переговорах<sup>13</sup>, так как строительство этих каналов привело бы к изменению маршрута польской торговли хлебом в обход прусской территории, что повлекло бы за собой разорение Торуня (Торна) и Гданьска (Данцига) [12. С. 217–218] (см. также [17. S. 51])<sup>14</sup>.

В течение февраля – июля 1822 г. Александр I и Фридрих-Вильгельм III вели оживленную переписку. Российская сторона стремилась доказать необходимость пересмотра конвенции от 7 декабря 1818 г. и сохранить протекционизм во внешней торговле. Пруссия выступала за то, чтобы не менять условий конвенции и начать разговор с позиций, на которых обе державы находились до подписания Венского договора. Непримируемость подобных точек зрения привела к сложным и затяжным переговорам [18. Серия 2. Т. 4 (12).

---

<sup>13</sup> На переговорах с Пруссией Александр I поручил защищать интересы как Империи, так и Королевства [18. Серия 2. Т. 4 (12). Док. 191. С. 547–550] (см. также [13. S. 109]).

<sup>14</sup> В январе 1823 г. для переговоров с Пруссией от Королевства Польского в Берлин был направлен П.О. Моренгейм, в помощь которому выделили вице-консула (с 1824 г. – генерального консула) в Гданьске Макаровича. [18. Серия 2. Т. 5 (13). Док. 8. С. 31–33, Док. 139. С. 350–356, Док. 215. С. 599–607. Прим. 314–317. С. 765–768] (см. также [13. S. 110; 16. S. 41, 42–43]).

Док. 191. С. 547–550. Аннотация на с. 446. Прим. 208. С. 692]. См. также: Док. 163. С. 466–469, Док. 167. С. 476–478, Док. 199. С. 570–577], с одной стороны, и практическим действиям – с другой. 10 апреля 1823 г. [18. Серия 2. Т. 5 (13). Прим. 44. С. 681; 28. 1823. № 7 (795). С. 45–48] Пруссия ввела, в ответ на российский и польский<sup>15</sup>, свой новый тариф. В нем были значительно повышены (от 40 до 200%) [15. Т. II. С. 387–388] ввозные пошлины на товары из России и Королевства [18. Серия 2. Т. 5 (13). Док. 37. С. 90–91; 14. С. 69; 16. С. 43], однако отсутствовало упоминание о транзитной пошлине. В “Замечаниях об изменении правительством Пруссии тарифа от 25 октября 1821 г.” П.О. Моренгейм указывал на то, что оказались “парализованными все торговые операции между польскими провинциями”, “сократилось производство товаров, которые эта страна была в состоянии вывозить”, “замедлилось развитие национальной промышленности”. Главным виновником такого положения, по мнению Моренгейма, являлось правительство Пруссии, которое не соглашалось отменить ограничения на торговлю Королевства и продолжало “стеснять торговлю и промышленность польских провинций, принимая еще более обременительные для них меры”. Необходимо было договориться с Пруссией о развитии торговых отношений на новом уровне, более соответствующем “взаимным интересам и добрососедским отношениям двух стран” [18. Серия 2. Т. 5 (13). Прим. 46. С. 681].

Торговые отношения между Россией и Королевством Польским должны были развиваться на новой основе. Правительству Королевства было предложено изложить свои взгляды относительно таможенной автономии. Эту работу возглавил князь Ф.К. Любецкий [12. С. 315–317; 11. С. 234], который 30 апреля 1822 г. представил проект установления торговых связей с Империей. В нем предусматривалось освобождение от всяких пошлин русских и польских “сырых произведений”; взимание 1% пошлины с цены товаров, вырабатываемых из польского или русского сырья, а для “фабрикатов”, “выделяемых” из иностранного сырья, следовало установить пошлину в размере 3%, с обязательством представления свидетельства о происхождении [16. С. 50; 12. С. 215–216, 316; 5. С. 161–162; 31. С. 33].

Предложенные принципы были поддержаны русским правительством и легли в основу указа от 1 августа 1822 г. Параграф шестой этого документа гласил: “Транзитный торг и отпуск товаров для Царства Польского через порты и таможи остзейских губерний ... производить свободно и беспрепятственно” [19. Т. 38. № 29149. С. 578]. Указ защищал польскую промышленность от прусских и австрийских товаров [12. С. 317–319], а также способствовало успешному развитию основной отрасли польской индустрии – шерстяной промышленности, которая получила возможность обслуживать не только русский, но и, благодаря открывшемуся транзиту через Россию, китайский рынки [16. С. 41, 50]. Беспшлинный привоз переработанного иностранного сырья привел к созданию в Королевстве Польском обрабатывающей промышленности, изделия которой, при ввозе в Россию, облагались незначительной пошлиной. Предусмотренные указом меры благоприятно повлияли на развитие некоторых отраслей русской промышленности (в частности, хлопчатобумаж-

---

<sup>15</sup> Предложение о пересмотре торговой конвенции от 7 декабря 1818 г. было выдвинуто за месяц до публикации русского тарифа по торговле с европейскими странами от 12 марта 1822 г. [18. Серия 2. Т. 4 (12). Прим. 179. С. 682–683, Прим. 228. С. 699] (см. также [19. Т. 38. № 28964. С. 104–105; 30]).

ной). В сущности, это был компромисс, выгодный для обеих сторон [5. С. 163–164; 12. С. 216–217; 24. С. 421]. Между тем проблемы оставались. Как писал экономист И.И. Янжул, “от всего остального света Россия была ограждена высокой стеной запретительного тарифа, и лишь Польша представляла собой ворота в этой сплошной стене, и при том ворота... плохо оберегаемые” [31. С. 35–36; 32. С. 46]. Поэтому главной заботой русского правительства становится борьба с проникновением под видом польских произведений изделий из Пруссии [21. 303. S. 148–150, 166, 187–190; 306. S. 1–139, 339–349, 488–494, 522–585].

Выход из сложившейся ситуации видели в том, чтобы ужесточить правила выдачи свидетельств о происхождении польских<sup>16</sup> и русских [19. Т. 38. № 29237. С. 673–677] изделий. Справедливости ради, нужно отметить, что проблема борьбы с подложными товарами была не новой в польско-русских взаимоотношениях. В шестой конвенции, заключенной между Россией и Пруссией 11 октября 1816 г., в рамках работы трехсторонней комиссии, с участием Австрии, обращалось внимание на то, что “происхождение продуктов природы, земледелия, ремесел и фабрик” из областей, находящихся “во владении е. в-ва императора всероссийского, царя польского, и е. в-ва короля прусского” должно удостоверяться свидетельствами о происхождении товаров, выдаваемых консулами или магистратами на польском языке. Для того, чтобы получить свидетельство, было достаточно, “чтобы изделие было произведено в Польше и доведено ее национальной промышленностью до такой степени, когда оно становится предметом потребления”. Дабы избежать подделок, “к свидетельствам бечевками” должны были “прилагаться образцы перевозимых товаров”, а также стоять “клеймо или печать консула, торгового агента или магистрата, подписавшего свидетельство” [18. Серия 2. Т. 2 (10). Прим. 22. С. 739; 16. S. 30–31]. В указе от 3 октября 1819 г. говорилось, что “все отправления обработанных произведений Царства Польского в Россию”, сопровождаемые “свидетельствами местного начальства о их происхождении, производить не иначе, как через Варшаву, где начальство российских таможен... утверждать должно своею подписью их подлинность и верность”. Кроме того, предлагалось “составить... ведомость о существующих фабриках, мануфактурах и заводах в пределах Царства с означением качества и количества вырабатываемых на оных изделий, места, где они находятся, и имени фабриканта или хозяина, с приложением клейма фабрики, и сообщить оную российскому таможенному начальству в Варшаве; по мере же учреждения вновь подобных заведений, будет ею об оных уведомлять” [19. Т. 36. № 27938. С. 351] (см. также [21. 303. S. 1–4, 25–27; 12. С. 212]). В указе от 1 августа 1822 г. “О торговых сношениях между Россией и Царством Польским” отмечалось, что при провозе собственных изделий обеих государств “сопровождать оныя в доказательство их происхождения свидетельствами” [19. Т. 38. № 29149. С. 578] (см. также [15. Т. I. S. 215]).

30 июня 1824 г. увидело свет “Общее учреждение о провозе собственных изделий Империи Российской и Царства Польского из одного государства в другое” [19. Т. 39. № 29977. С. 420–431. Т. 45. Книга тарифов. С. 103–110]. Согласно этому документу экспортируемые в Царство Польское российские товары разделялись на три категории и сопровождались свидетельствами о

---

<sup>16</sup> Инструкция относительно выдачи свидетельств о происхождении на изделия, вывозимые в Российскую империю (7 марта 1823 г.) [33. С. 554–574].

происхождении. К первой принадлежали “мануфактурные и фабричные изделия”, о которых нельзя “заключить, что они действительно выработаны в России”. Ко второй – ремесленные и цеховые изделия, о которых также “нельзя утвердительно заключить, что они сделаны в России”. К третьей – изделия “российской, а не иностранной выделки” [19. Т. 39. № 29977. С. 420]. Также на три разряда делились свидетельства о происхождении на изделия, отправляемые из Королевства Польского в Россию. К первому относились “изделия фабричные и мануфактурные”; ко второму – “изделия ремесленные и художественные, о которых, по сходству их с иностранными, могут возникнуть споры”; к третьему – “изделия мануфактурные или ремесленные, о которых, по свойству их, не может никакого быть сомнения в действительной выделке в Царстве Польском из собственных сырых произведений и в пределах собственной земли” [19. Т. 39. № 29977. С. 425–426]<sup>17</sup>.

16 апреля 1825 г. была учреждена даже специальная комиссия “о фальшивом клеймении товаров”, которая должна была, “по своему усмотрению, употреблять все законные меры к открытию виновных и к обеспечению казенного интереса” [19. Т. 40. № 30322. С. 205]. Однако все эти меры не могли улучшить ситуацию. Еще в 1823 г. министр финансов Е.Ф. Канкрин отмечал, что, по его мнению, “отвращение усиливающейся контрабанды наиболее зависит от полицейского надзора, от поспешного судопроизводства и от особых секретных мер, распространяющих страх между контрабандистами и самими тулущими” [21. 306. S. 604–605].

В течение лета 1823 г. специально созданный комитет<sup>18</sup>, заседания которого проходили в Петербурге, должен был окончательно урегулировать нерешенные вопросы торговых отношений между Российской империей и Королевством Польским. Одна из главных задач состояла в пресечении потока австрийских и прусских изделий под видом польских на русский рынок. Для этого договаривающиеся стороны должны были обмениваться перечнями существующих и вновь создаваемых мануфактур и фабрик; сведениями о фабричных марках и знаках. Российские товары предлагалось ввозить в Царство Польское в соответствии с положениями тарифа от 20 декабря 1822 г.<sup>19</sup> Оба

---

<sup>17</sup> Схожие правила выдачи свидетельств о происхождении товаров вводились для Финляндии и Бессарабии. В правилах привоза товаров и изделий из Финляндии в Россию говорилось, что составляются “две ведомости: первая, товарам и произведениям Великого Княжества Финляндского, пропускаемым в Россию без свидетельств и беспошлинно. Вторая, товарам и произведениям, пропускаемым из Финляндии в Россию беспошлинно, но ... со свидетельством местного городского начальства, что они происхождения и изделия финляндского, и которые сверх клейма мануфактур, фабрик и заводов, на коих они выделаны, имеют клеймо фабрикантных судов, или где оных нет, самих магистратов” [19. Т. 39. № 29739. С. 22; Т. 45. Книга тарифов. С. 102–103]. Ряд изделий Бессарабии разрешалось “привозить в Россию без свидетельств, ... беспрепятственно и без пошлин”. Если “произведения... Бессарабской области” разрешались к провозу в Россию, то их сопровождали свидетельства, подтверждающие, “что оныя суть действительно происхождения и изделия Бессарабского” [19. Т. 40. № 30243. С. 92–93]. Российские товары и изделия, разрешенные по тарифу 1822 г. к вывозу, должны были свободно привозиться в Бессарабию без свидетельств и без пошлин [19. Т. 40. № 30243. С. 93. Т. 45. Книга тарифов. С. 112–113].

<sup>18</sup> В состав комитета вошли: К.В. Нессельроде, Е.Ф. Канкрин, Я.О. Ламберт и С. Грабовский [13. С. 107–108; 18. Серия 2. Т. 5 (13). Док. 74. С. 180–182. Прим. 104. С. 705].

<sup>19</sup> Тариф для взимания пошлин с сырья и изделий России и Царства Польского при провозе из одного государства в другое от 20 декабря 1822 г. [19. Т. 38. № 29238. С. 677. Т. 45. Книга тарифов. С. 92–97].



правительства решили не “вносить никаких изменений в законы и регламенты, касающиеся торговых отношений между Империей и Царством, не согласовав их предварительно между собой” [18. Серия 2. Т. 5 (13). Док. 74. С. 182]. Очевидно, можно говорить о том, что Россия и Королевство пытались выработать общие принципы не только торговой, но и промышленной политики.

1824 год был важной вехой в регулировании торговых контактов Королевства Польского с Россией, Пруссией и Австрией. 29 декабря 1824 г. Пруссия опубликовала транзитный тариф, в котором были несколько уменьшены пошлины на пшеницу, сушеные овощи, рожь, овес и несколько повышены на ячмень [18. Серия 2. Т. 6 (14). Док. 2. С. 12–13. Прим. 4. С. 709; 28. 1825. № 8. С. 69–71.]. Продолжающиеся переговоры между Россией и Пруссией завершились подписанием новой конвенции о торговле и судоходстве от 27 февраля 1825 г. [2. Т. 8. С. 24–46; 19. Т. 40. № 30264. С. 113–118; 28. 1825. № 8. С. 57–68] (см. также [13. С. 117; 15. Т. II. С. 397–399; 12. С. 218]). Она определила юридическое положение российских и польских купцов в Пруссии и прусских в России и Королевстве; режим судоходства по рекам; правила торговли, учреждения таможен, вывоза и ввоза товаров, а также пограничный режим и порядок транзита через территории договаривающихся держав [18. Серия 2. Т. 6 (14). Док. 25. С. 75–81] (см. также [10. С. 307])<sup>20</sup>. Были аннулированы конвенции 1818 г. и ряд статей Венского договора 1815 г.; устанавливался свободный транзит ввозимых в Королевство и вывозимых из него польских товаров через Данциг (Гданьск) и другие прусские порты; строго фиксировались транзитные пошлины; запрещался транзит прусского сукна в Китай через территории Королевства и России<sup>21</sup> и т.д. Иными словами, на взаимной основе были удовлетворены главнейшие требования России и Королевства Польского. Конвенция действовала до 19 августа 1836 г. [18. Серия 2. Т. 5 (13). Прим. 314. С. 765–767].

Увеличение в семь раз пошлины на польское сырье и промышленные изделия австрийским таможенным тарифом от октября 1824 г. привело к дли-

---

<sup>20</sup> О переговорах между Россией и Пруссией см.: [18. Серия 2. Т. 5 (13). Док. 1. С. 8–11, Док. 3. С. 18–21, Док. 8. С. 31–33, Док. 34. С. 86–87, Док. 37. С. 90–91, Док. 47. С. 112, Док. 62. С. 148–150, Док. 73. С. 178–180, Док. 87. С. 211–214, Док. 90. С. 217–221, Док. 114. С. 283–285, Док. 115. С. 286–289, Док. 117. С. 295–296, Док. 119. С. 298–300, Док. 125. С. 324–329, Док. 139. С. 350–356, Док. 164. С. 434–435. Прим. 44. С. 681, Прим. 46. С. 681–686, Прим. 47. С. 686, Прим. 65. С. 691, Прим. 87–89. С. 701–702, Прим. 120. С. 715, Прим. 157–160. С. 724–726, Прим. 170–171. С. 728–729, Прим. 191–192. С. 733–737, Прим. 314–317. С. 765–768. Аннотация на с. 272].

<sup>21</sup> В результате последнего запрета “первое время отпуск русских сукон через Кяхту возрос”. Как отмечал П. Миллер, “вскоре... преобладающее положение на Кяхте заняли не русские, а польские сукна, которые допускались к ввозу в Россию с платежом сравнительно очень небольшой (3 коп. сер. с фунта) таможенной пошлины... Отпуск через Кяхту польских сукон с 37 тыс. арш. в 1825 г. повышается в 1827 г. уже до 334 тыс. арш. Тогда со стороны русских фабрикантов начались нападки на польские фабрики, жалобы, что они подавляют их своей конкуренцией и ходатайства о запрещении транзита польских сукон. Граф Канкрин вполне разделял мнение русских фабрикантов, находя, что “близость Силезии и другие обстоятельства дают польским фабрикантам преимущественные выгоды перед российскими и что польское правительство только искусственными мерами-льготами, лицензиями и изъятиями по таможенной части развило сукноделие в Польше”. Граф Канкрин не раз поэтому всеподданнейше представлял о необходимости повысить пошлины на польские сукна, но император Николай I настойчиво отклонял эти представления” [34. С. 94–95].

тельными переговорами между Россией и Австрией. Соглашение было достигнуто, однако его содержание не внушало оптимизма. Ввозные пошлины, в отличие от транзитных, уменьшены не были. Австрийская сторона обязалась принять меры для борьбы с контрабандной торговлей [11. С. 239–240]<sup>22</sup>.

По инициативе Ф.К. Любецкого, в 1826 г. ставился вопрос о таможенном объединении России и Королевства Польского. Однако это предложение не нашло поддержки у министра финансов Е.Ф. Канкрин, который указывал на сложность борьбы с контрабандной торговлей в польских таможах и отмечал, что реализация указанной идеи приведет к упадку российской промышленности [1. С. 23; 16. С. 56; 5. С. 190–191]<sup>23</sup>.

Польское восстание 1830 г. прервало торговые отношения России и Королевства. 12 ноября 1831 г. был утвержден новый торговый тариф, согласно которому были значительно увеличены пошлины (на 3–15% со стоимости) на привозимые из Королевства товары, а также прекращено субсидирование польской промышленности [36. Т. 6. 1831. Отд. 2. № 4941. С. 202–206; См. также: 31. С. 38; 5. С. 187]. Е.Ф. Канкрин воспользовался ситуацией. Увеличение пошлины на шерстяные изделия в 13 раз (с 3 до 40 коп. серебром с фунта) решило судьбу транзита польского сукна в Азию. “Только по настойчивым ходатайствам польских фабрикантов, доказывавших, что они в восстании не участвовали и только потерпели убытки от него, “дозволено в виде особого снисхождения” отправлять еще три года в Кяхту транзитом сукно: в 1832 г. – 300 тыс. арш. с пошлиною в 3 коп. сер. с фунта; в 1833 г. – 200 тыс. арш. с пошлиною по 4 коп. сер., и в 1834 г. – 200 тыс. арш. с пошлиною по 5 коп. сер.” [34. С. 95–96].

Анализ особенностей торговой политики России и Королевства Польского в 20-е годы XIX в. показал, что в первые годы после Венского конгресса главенство интересов аграрного экспорта привело к распространению в большинстве европейских государств идей свободной торговли [37. С. 349; 17. С. 39–40, 45].

В экономике России и Королевства Польского господствующие позиции также принадлежали сельскому хозяйству. В правительственных кругах интересы аграрного сектора выражали дворяне. Они являлись крупнейшими поставщиками сырья на внешнем рынке, что было выгодно при низком курсе национальных валют и при создании условий для беспрепятственной торговли, так как сокращение экспорта могло привести к сокращению их доходов. Приверженцы либеральной политики всячески поддерживали развитие крестьянской промышленности, приносящей помещикам необходимые денежные

---

<sup>22</sup> Коммерческие отношения между Австрией и Россией определили конвенция о торговле и мореходстве от 8 июля 1846 г., протокол и дополнительный акт к ней от 28 июня 1847 г. [2. Т. 4. Ч. 1. С. 551–580; 14. С. 70].

<sup>23</sup> С небольшими изменениями [35. Стб. 1305–1307; Стб. 1310–1314] тариф 1822 г. просуществовал до 13 октября 1850 г., когда был издан новый тариф “по Европейской торговле для таможен Российской Империи и Царства Польского”, в котором говорилось: “... в постоянном попечении... о развитии торговли и промышленности... признали за благо, для ...облегчения как заграничных торговых сношений, так и внутренних между ...верноподданными в Империи Российской и Царстве Польском, издать для Империи и Царства один общий таможенный тариф, со снятием в то же время внутренней между оными таможенной линии” [36. Т. 25. 1850. Отд. 2. № 24533. С. 14, 48–176; 16. С. 51].

средства, и считали, что мануфактуры не могут развиваться, так как в стране ощущается недостаток рабочих рук. Протекционисты, выражавшие интересы нарождающейся буржуазии, ратовали за развитие крупного производства, в том числе и купеческой мануфактуры, за поддержание высокого курса национальной валюты системой запретительных мер. Все это должно было создать, по их мнению, необходимые условия для экономической независимости государства.

Противостояние между фритредерами и протекционистами, выразившими различные стороны экономической стратегии государственного развития, не являлось столь уж непримиримым. Несмотря на то что в начале XIX в. экономическое развитие в странах Западной Европы требовало “привнесения буржуазных элементов” в проводимую политику [38. С. 156], преобладающие в большинстве правительств сторонники протекционизма не могли принимать решения, противоречившие дворянским интересам [38. С. 143–156] (см. также [39. С. 633–634]). Поэтому можно говорить о том, что правительства России и Королевства стремились разумно сочетать либеральную политику с протекционизмом [9. С. 486] даже в тех случаях, когда международные обязательства вносили коррективы в принятую концепцию государственного развития. Речь идет о Королевстве Польском, особое положение которого в составе Российской империи было определено постановлениями Венского конгресса [14. S. 67]. Стремление России выполнять взятые на себя обязательства приводило к тому, что любое изменение таможенной политики проходило длительный этап согласования с польской стороной. Для этих целей создавались специальные совместные комитеты, в состав которых входили представители обоих правительств. Практически все предложения, высказываемые польскими комиссарами, учитывались в издаваемых указах и манифестах. Совместная законотворческая деятельность приводила к тому, что России и Королевству удавалось урегулировать спорные вопросы торговой политики, на практике создавать благоприятные условия для возрастания взаимного товарооборота. Финансовая поддержка русского правительства способствовала подъему мануфактур Королевства, а обширный русский рынок – сбыту продукции [12. С. 399; 14. S. 143; 16. S. 21–23].

Таким образом, как Россия, так и Королевство Польское в проводимой торговой политике стремились, во-первых, выполнять постановления Венского конгресса и тем самым создавать условия для максимальной свободы торговли, по крайней мере двусторонней. Во-вторых, с наименьшими потерями выйти из крайне тяжелого экономического положения, вызванного континентальной блокадой, борьбой с наполеоновской Францией [40. Л. 1], неурожаями и голодом как в России, так и в Королевстве Польском, переходом от мира к войне и обратно. В-третьих, с учетом меняющейся экономической ситуации всемерно поддерживать национальную промышленность и торговлю, обеспечить приток значительных денежных средств, поднять курс обесценивающихся национальных валют [22. S. 54].

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Jeziarski A.* Handél zagraniczny Królestwa Polskiego. 1815–1914. Warszawa, 1967.
2. *Мартенс Ф.Ф.* Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. СПб., 1874–1905. Т. 1–15.
3. *Лодыженский К.* История русского таможенного тарифа. СПб., 1886.

4. *Страхова Н.П.* Тариф 1819 г. во внешнеполитических планах России // Вестник МГУ. Серия 8. История. 1990. № 3.
5. *Струве П.Б.* Торговая политика России. СПб., 1913.
6. *Прошин Г.Г.* Таможенный тариф 1819 года // Научные доклады высшей школы. Исторические науки. 1961. № 4.
7. *Корнилов А.А.* Русская политика в Польше со времени разделов до начала XX века. Пг., 1915.
8. *Покровский В.И.* Сборник сведений по истории и статистике внешней торговли России. СПб., 1902. Т. 1.
9. *Dr.R. van der Borgh.* Торговля и торговая политика. СПб., 1902.
10. *Кулишер И.М.* Очерк истории русской торговли. Пб., 1923.
11. *Обушеноква Л.А.* Королевство Польское в 1815–1830 гг. Экономическое и социальное развитие. М., 1979.
12. *Воблый К.Г.* Очерки по истории польской фабричной промышленности. Киев, 1909. Т. 1: (1764–1830).
13. *Ajzen M.* Polityka gospodarcza Lubeckiego (1821–1830). Warszawa, 1932.
14. *Strzeszewski Cz.* Handel zagraniczny Królestwa Kongresowego (1815–1830). Lublin, 1937.
15. *Smolka S.* Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowym. Kraków, 1907. Т. I–II.
16. *Zembrzusi S.* Polityka celna Królestwa Kongresowego. Warszawa, 1930.
17. *Bondi G.* Deutschlands Aussenhandel 1815–1870. Berlin, 1958.
18. Внешняя политика России XIX и начала XX века. Документы Российского Министерства иностранных дел. М., 1976–1985. Сер. 2. Т. 2 (10)–6(14).
19. Полное собрание законов Российской империи. Собрание I. СПб., 1830. Т. 1–45.
20. Министерство финансов. 1802–1902. СПб., 1902. Ч. I.
21. Archiwum Głównie Akt Dawnych. Kancelaria senatora Nowosilcowa.
22. *Sartorius von Walterschausen A.* Deutsche Wirtschaftsgeschichte 1815–1914. Jena, 1923.
23. *Янжул И.И.* Английская свободная торговля. Исторический очерк развития идей свободной конкуренции и начал государственного вмешательства. М., 1882. Вып. 2.
24. *История Польши.* М., 1954. Т. 1.
25. *Obraz Królestwa Polskiego w okresie konstytucyjnym.* Warszawa, 1984. Т. 1. Raporty Rady Stanu Królestwa Polskiego z działalności rządu w latach 1816–1828.
26. *Лескюр Ж.* Общие и периодические промышленные кризисы. СПб., 1908.
27. *Пржецлавский О.А.* Князь Ксаверий Друцкий-Любецкий. 1777–1846 // Русская старина. 1878. № 4.
28. *Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preussischen Staaten.* Berlin.
29. *Górewicz J.* Myśl techniczna a przeciwwilgociowa ochrona budowli przemysłowych w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, 1972.
30. Taryffa celna Królestwa Polskiego, uzupełniona objaśnieniami, zaszłemi od pierwotnego jej ogłoszenia w roku 1823 po koniec września 1837 г. ułożona na zasadzie akt Komissyi Rządowej Przychodów i Skarbu, i przez Sekcyę Celną tejże Komissyi sprawdzona, wraz z ogólnymi przepisami związek z taryffą mającymi. Warszawa, 1837.
31. *Янжул И.И.* Исторический очерк развития фабрично-заводской промышленности в Царстве Польском. М., 1887.
32. Труды Варшавского Статистического комитета. Варшава, 1907. Вып. XXIX.
33. Сборник административных постановлений Царства Польского. Ведомство внутренних и духовных дел. Варшава, 1866. Ч. 2. Т. 1.
34. *Миллер П.* Русская транзитная торговля в XIX столетии // Русское экономическое обозрение. СПб., 1903. № 5.
35. Архив Государственного Совета. Царствование императора Александра I (с 1810 по 19 ноября 1825 г.). Журналы по делам Департамента государственной экономии. СПб., 1881. Т. 4, ч. 2.
36. Полное собрание законов Российской империи. Собрание II. СПб., 1830–1884. Т. 1–55.
37. *Зомбарт В.* История экономического развития Германии в XIX веке. СПб., [б/г.]. Вып. 2.
38. *Предтеченский А.В.* Борьба протекционистов с фритредерами в начале XIX века // Ученые записки ЛГУ. Серия исторических наук. Л., 1939. Вып. 5. № 48.
39. *Пичета В.И.* Фритредеры и протекционисты в первой четверти XIX века // Книга для чтения по истории нового времени. М., 1912. Т. 3.
40. Российский государственный исторический архив. Ф. 560. Оп. 10. Д. 71.



© 2005 г. Л.П. ЛАПТЕВА

## СВЯЗИ И.С. АКСАКОВА С ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИМИ УЧЕНЫМИ (по данным переписки)

Интерес И.С. Аксакова к зарубежным славянам общеизвестен. Он путешествовал по славянским странам, имел много знакомств среди славянских деятелей, стремился устанавливать идейные и культурные связи России со славянскими народами. Являясь одним из активных деятелей Московского Славянского Благотворительного Комитета, И.С. Аксаков организовывал сборы пожертвований в пользу угнетенных славян, уделял особое внимание славянским студентам, учившимся в России, популяризовал сведения о славянах в своих печатных органах. Во время военных действий на Балканах Аксаков организовывал сборы пожертвований и отправку русских добровольцев для поддержки восстаний против Турции и т.д.

Вся эта деятельность И.С. Аксакова неоднократно описана в литературе, оценена и интерпретирована. Литературное наследие И.С. Аксакова хорошо изучено, опубликовано много его писем, да и неизданная корреспонденция активно используется в научном обороте. На наш взгляд, специальным вопросом, еще слабо разработанным в литературе, является отношение Аксакова к западным славянам. В отличие от болгар и сербов, чехи и поляки исповедуют католическую религию. Их политическая жизнь протекала в иных рамках, нежели славян южных. Чехи, являясь составной частью населения Австрийской монархии, конечно же, не могли быть субъектом активных контактов И.С. Аксакова. Поляки занимали особое место, как в теоретических построениях славянофилов, так и в их практической жизни.

Что касается чехов, то их политическая элита в конце 50-х – начале 60-х годов XIX в. придерживалась теории австрославизма, выработанной в чешской общественной мысли уже со времен начала национального возрождения. Эта теория постепенно видоизменялась под влиянием исторических обстоятельств, но всегда была ориентирована на Запад (т.е. на Австрию), в направлении, противоположном тому, о котором мечтали славянофилы, выражая их суждения о судьбах и благоденствии славян. Но и среди чешских деятелей – не столько политиков, сколько ученых и деятелей культуры – всегда существовал узкий слой русофилов. С ними и поддерживал связь И.С. Аксаков. Ввиду второстепенности проблемы для практических действий славянофилов, а так-

же и по другим причинам, документы, касающиеся контактов И.С. Аксакова с западнославянскими учеными, остались вне поля изучения историками.

В настоящем сообщении речь идет только о двух ученых-русофилах, письма к которым И.С. Аксакова оказались нам доступными. Среди чехов это был Вацлав Ганка (1791–1861), библиотекарь, а с 1819 г. хранитель рукописей Национального музея в Праге. Ганка издавал старочешские и старославянские памятники, писал стихи, публиковал исследования по древнечешским и древнеславянским сюжетам. Будучи человеком лингвистически одаренным, ученый переводил на чешский язык произведения других славян, в том числе осуществил в 1821 г. перевод “Слова о полку Игореве”. Он также преподавал славянские языки в Пражском университете. По патриотическим побуждениям Ганка осуществил и ряд подделок письменных памятников, среди них Краледворскую и Зеленогорскую рукописи, на доказательство поддельности которых в чешской (и не только) науке ушло более ста лет.

Ганка был сторонником идеи славянской взаимности в ее русофильском варианте. Он считал, что славяне не только должны принять общий русский литературный язык, но и политически находиться под эгидой русского государства, которое только и способно освободить их от иноземного господства и защитить их свободу. При этом Ганка, как и другие сторонники этого варианта “славянской взаимности”, считал, что славянские государства, освобожденные от иноземного ига, должны развиваться самостоятельно и независимо.

Сфабрикованные Ганкой фальсификаты весьма повредили ему, в частности в сфере историографии. Обо всех других деятелях чешского национального возрождения имеются специальные монографии, не говоря уже о другой литературе, а о Ганке подобных исследований нет.

Между тем, на наш взгляд, Ганка больше, чем кто-либо другой из славянских деятелей, способствовал межславянским культурным и научным связям. Благодаря его энергии библиотека Национального музея в Праге превратилась в центр, куда поступала вся славянская литература – газеты, книги, брошюры, рукописи. Ганка их покупал, получал в качестве предметов обмена, подарков и т.д. Он вел обширную переписку со всеми славянскими деятелями. В 1905 г. русский ученый, профессор Варшавского университета В.А. Францев издал “Письма к Вячеславу Ганке из славянских земель”, и эта книга представляет собой неоценимую источниковую базу для изучения процессов развития науки о славянах и славянских связях в XIX в. Особенное значение имели славянские связи Ганки в период становления русского славяноведения. Ганка оказывал всестороннюю научную помощь русским стипендиатам-славистам, посетившим Прагу, знакомил их с сокровищами библиотеки музея, обучал чешскому языку, организовывал изучение ими славянских литератур, осуществлял и обмен литературой. По мнению чешских историков XX в., Ганка, начиная с 20-х годов XIX в., был в России самым знаменитым из западных славян.

В 1857 г. Ганку в Праге посетил И.С. Аксаков. 22(10) сентября он написал в альбоме Ганки: “С необыкновенным уважением смотрю я на Вас, Венцеслав Венцеславович, на бодрость 66-летнего мужа, на постоянство Вашего служения одной заветной мысли. Нужны нашему поколению знания, нужны примеры, а потому – да продолжит Бог Вашу жизнь на многие, многие лета, на пользу всего славянского мира. Всею душою благодарю Вас за Ваш добрый, ласковый прием” [1. С. 3].

Впоследствии И.С. Аксаков находился в переписке с Ганкой. В нашем распоряжении имеются три письма 1858–1860 гг. [1. С. 3–5]<sup>1</sup>. В первом из них, от 24 августа (ст. ст.) 1858 г., И.С. Аксаков благодарит чешского деятеля за присылку книг и известий, сообщает, что посылает Ганке свое сочинение, «изданное Русским Географическим обществом, а именно “Описание малороссийских ярмарок”». “Для Вас и для прочих чешских читателей может иметь интерес только брошюра, в которой помещено “Введение” к самому описанию”, – добавляет И.С. Аксаков [1. С. 3]<sup>2</sup>.

Далее он в том же письме извещает Ганку о том, что с 1 января 1859 г. будет издавать газету под названием “Парус”. “В этой газете, – замечает русский ученый, – я открываю особый славянский отдел с целью сообщать русским читателям самые свежие, достоверные и подробные известия о ходе наук и литературы разных славянских племен, между которыми чешское в этом отношении занимает, разумеется, первое место”. И далее Аксаков просит Ганку о сотрудничестве. “Мне очень бы желательно было получать по несколько раз в год обозрение чешской журналистики, т.е. чешских журналов и газет, обозрение литературы, наук и искусств с критической оценкою... Будьте так добры, – продолжает Аксаков, – закажите кому следует эти статьи, равно как и сообщение мне известий”. И далее: «Так как теперь – по случаю назначения А.Ив. Кошелева депутатом в Крестьянском комитете г. Рязани – редакция “Русской Беседы” перешла в мои руки, то я намерен придать и в Беседе славянскому отделу больше полноты и стойкости. С будущего года Беседа будет выходить не в IV, а в VI книгах. Мне бы нужно иметь статистическое и еще более этнографическое описание Чехии и Моравии, также описание крестьянского сельского хозяйства, народного быта, обычаев и проч. Если бы кто из Ваших писателей взялся бы написать для русских читателей “Картины Чехии и Моравии” живым изящным языком, он оказал бы нам величайшую услугу».

На наш взгляд, это письмо любопытно тем, что свидетельствует об источниках, из которых И.С. Аксаков черпал материал о славянских делах. Сведения шли из первых рук и, следовательно, обладали высокой степенью достоверности. В письмах Аксаков высказывал и свою концепцию вопроса. Характерно в этом отношении его обращение к славянским деятелям от имени редакции “Русской Беседы” и “Паруса”, приложенное к письму, адресованному Ганке [1]<sup>3</sup>: «Уже три года в Москве выходит журнал “Русская Беседа”, который издают люди, полные сочувствия к славянам. Журнал постоянно стремится к тому, чтобы познакомить русских читателей с историей, географией, бытом, словесностью – вообще с духовной и нравственной деятельностью славянских племен. Этот журнал имел счастье украшать свои страницы оригинальными плодами многих ученых деятелей славянского просвещения». И далее Аксаков обосновывает необходимость участия славянских ученых в изданиях “Русская Беседа” и “Парус”. Он призывает славянских ученых к сотрудничеству и замечает: “Во имя нашего кровного родства, во имя нашего

<sup>1</sup> Письма И.С. Аксакова опубликованы В.А. Францевым в [1]. Цитируются по оригиналу, хранящемуся в пражском Literární Archiv Památník ů Narodního Pisemnictví (LAPNP), фонд В. Ганки.

<sup>2</sup> В.А. Францев замечает: «“Исследование о торговле на Украинских ярмарках” удостоено большой Константиновской медали Географического общества и половиной Демидовской премии Академии наук» [1]. В письме Аксакова название его собственной книги приведено не совсем точно.

<sup>3</sup> Оригинал на чешском языке.

духовного единства мы, русские, подаем братскую руку всем славянским народностям. Пусть каждая из них развивается полностью самостоятельно. Пусть каждое племя внесет свою часть труда в общее дело славянского просвещения. Пусть каждое свободно, смело, беспрепятственно выполнит свое призвание, выскажет свое слово, обогатит своим духовным вкладом общую сокровищницу славянского духа. Мы все – чехи, русские, поляки, сербы, хорваты, болгары, словенцы, словаки, русины, лужичане – мы все представляем различные стороны духа славянского, взаимно дополняем один другого и только благодаря единой работе можем достигнуть полноты славянского развития и сохранить нашу духовную самостоятельность. Не внешняя политика, а внутреннее нравственное, духовное единство нам драгоценно и важно. Не только материальный успех, но познание, образование основных славянских частей – вот что необходимо славянским народам, чтобы они могли стать самостоятельными деятелями в общечеловеческом просвещении, чтобы могли обновить стареющий мир свежими силами своего духа и жизни. Конечно, история послала славянам много испытаний. Но кому дано много духовных сил, от того больше и потребуется; кому суждено много сделать, того ожидает тяжелый труд” [1. С. 4–5].

Из этого “воззвания” к славянам видна славянофильская сущность понимания Аксаковым славянского вопроса. Оно опиралось на идею общности и единства славянских народов и на убеждение в необходимости славянской литературной взаимности. Нельзя не отметить утопичность подобных рассуждений и призывов, ибо единого славянства не существовало, а к 60-м годам XIX в. между славянскими народами было больше различий, чем общего. Однако признание Аксаковым необходимости самостоятельного развития каждого славянского народа было фактором прогрессивным.

Что касается программы славянского отдела журнала “Русская Беседа” и газеты “Парус”, то она была чрезвычайно насыщенной. И.С. Аксаков предполагал публиковать обзоры развития славянской словесности, биографии известных славянских деятелей, общие этнографические очерки славянских народов, подробные описания отдельных славянских областей. При этом его интересовали сведения об образе жизни крестьян, устройстве управления деревенских общин, процедуре избрания сельских старост, реликты общего древнего владения землей, а также народные обычаи, праздники, суеверия и т.д. Внимание И.С. Аксакова к материалам такого характера неслучайно. Именно в это время в России обсуждался вопрос об “эмансипации земельного сословия”, и издатель “Русской Беседы” понимал его актуальность. Что касается дальнейших пунктов содержания Славянского отдела “Русской Беседы”, то в них значились монографии о важных периодах в истории славянских народов, критические оценки важнейших славянских сочинений. Такие же широкие задания ставились и перед славянским отделом газеты “Парус”, с учетом характера издания.

“Воззвание” заканчивалось выражением уверенности в том, что приглашение к сотрудничеству не останется без отклика, и что “многообразные славянские племена объединятся в науке и словесности в сообществе мысли и обновят союз своего родового духовного братства”.

Ганке от редакции “Русской Беседы” было послано письмо, в котором говорилось: “Редакция журнала “Русская Беседа”, препровождая Вам первую книжку своего журнала, покорнейше просит Вас, милостивый государь, принять участие учеными трудами Вашими в ее издании. Для редакции интересно будет получить обозрение разных славянских литератур, сведения о вышедших в последнее время ученых трудах, о славянских народах, об их исто-



рии, древнем быте и проч. – как на славянских наречиях, так и на немецком языке; сведения об общинном быте древности и нынешнем в славянских землях; сведения о замечательных сочинениях по славянской филологии. Редакция будет присылать Вам свой журнал”.

Планы Аксакова по развертыванию информации о славянах были реализованы лишь частично. Как известно, “Русская Беседа” существовала недолго, а “Парус” вообще был запрещен цензурой после второго номера.

27 января 1860 г. И.С. Аксаков писал В. Ганке из Лейпцига: “В настоящее время в силу разных неблагоприятных обстоятельств я лишен журнальной деятельности и раньше года не могу возвратиться к ней... и решился воспользоваться этим временем, чтобы поездить за границей. В план моего путешествия входит прожить месяца два в Праге, научиться чешскому языку и посетить славянские земли”.

Что касается содержания писем, то кроме вышеприведенных сведений в них говорилось и о том, что Аксаков получил некие книги от Ганки и послал ему Славянскую Библию, “изданную при императрице Елизавете”, т.е. большую библиографическую редкость, а также сочинение А.Ф. Гильфердинга “Босния и Герцеговина” и “Письма об истории сербов и болгар” [2].

Если к Вацлаву Ганке И.С. Аксаков обращался как к своему единомышленнику, то отношения с поляком В.А. Мацеёвским у него были чисто деловые. Вацлав Александр Мацеёвский (1792–1883) был знаменитым польским историком славянского права, первым представителем исторической школы правоведения, основанной в Европе К.Ф. Эйгорном и К.Ф. Савиньи. Он создал первый синтез истории славянского права, открыв новое направление в исследовании предмета. Деятельность Мацеёвского проходила в основном в период после польского восстания 1830–1831 гг., когда сотрудничество польских ученых с русскими в области изучения славянских проблем сменилось политической враждой. Многие представители польской интеллигенции, ранее сотрудничавшие с русской интеллектуальной средой, теперь сменили своих покровителей и выступали с резко выраженных антирусских позиций. В.А. Мацеёвский же продолжал сотрудничество с русскими учеными, что явилось даже причиной обвинений его в измене национальным интересам на родине и травли как со стороны польской эмиграции, так и католической церкви. Между тем в русской науке труды Мацеёвского оценивались высоко. Также и среди других славян его творчество встречало положительный отклик, о чем свидетельствуют переводы его произведений на чешский, сербохорватский и болгарский языки. В 1832–1835 гг. вышло первое издание книги Мацеёвского “История славянских законодательств”, благосклонно встреченной специалистами. На издание третьего и четвертого томов Мацеёвскому было пожаловано из России 678 руб. Отрывки из этой книги появились на русском языке в 1835 г. в журнале “Телескоп” [3]. В 1839 г. Мацеёвский издал работу “Памятники истории письменности и законодательства славян”. Ее первая часть вышла в русском переводе под названием “История первобытной христианской церкви у славян” в 1840 г. и вызвала большой интерес среди русских славистов. Второй том “Памятников” был переведен на русский язык под названием “Очерки истории письменности и просвещения славянских народов” и опубликован в 1846 г. [4].

Благосклонно и с интересом принятая в России новая работа Мацеёвского вызвала резкие нападки со стороны некоторых европейских славистов, а также католической церкви и польской эмиграции. Так, В. Копитар резко возражал против суждения Мацеёвского о первоначальном существовании гречес-

кого религиозного обряда у всех славян. Обширный лагерь польской эмигрантской и католической журналистики объявил взгляды Мацеёвского еретическими. Писали, что он – представитель “чистого панславизма”, отрицающий польскую национальную идею. Его понятия о славянстве объявлялись “варварскими”, ему прямо ставилось в вину распространение таких утверждений, которые подрывали исконные основы польской истории, выражали явное сочувствие к “славянскому обряду” и чуть ли не преступное исполнение “чужих замыслов и внушений”. Живший в эмиграции Адам Мицкевич 12 апреля 1842 г., в лекции, прочитанной во Франции, отнес Мацеёвского к числу изменников. Но Мацеёвский не остался в долгу. В 1852 г. в работе “Piśmiennictwo Polske” он пренебрежительно отозвался о лекциях Мицкевича по истории польской литературы, которые, по мнению ученого, посеяли в европейском обществе заблуждения и ложные представления относительно славян вообще и поляков в частности и, следовательно, принесли больше вреда, чем пользы. Этот отзыв способствовал возникновению споров и ссор вокруг деятельности Мицкевича и его французских лекций.

Несмотря на сыпавшиеся на него неистовые нападки, Мацеёвский подготовил новое издание “Истории славянских законодательств”. Оно вышло в свет в шести томах в 1854–1858 гг., и на этот раз при материальной поддержке со стороны России. В новом издании автор повторил отвергнутое и осужденное католической критикой мнение о существовании в древности славянского религиозного обряда у поляков. На это его враги ответили в 1859 г. внесением обоих трудов Мацеёвского – “Истории славянских законодательств” и “Памятников письменности” – в ватиканский Индекс запрещенных книг, о чем постарался иезуит Имененко – цензор польской литературы в Конгрегации Индекса. Тщетно ученый апеллировал к папе римскому и доказывал свою верность установлениям католической церкви – ему до конца жизни так и не удалось добиться прощения этого “греха”.

В России труды Мацеёвского были оценены по достоинству. Они переводились на русский язык, а русские журналы охотно их публиковали. Так, редактор “Русской Беседы” И.С. Аксаков 6 января 1859 г. писал Мацеёвскому: «Вполне признавая достоинства всех ученых трудов автора “Истории славянских законодательств” и “Польской литературы”, редакция Русской Беседы благодарит его за радушный отклик на искренний призыв и покорнейше просит прислать ей на просмотр рукопись “Pogľad na adat” в оригинале – для помещения в “Русской Беседѣ”, если только специальные ученые достоинства диссертации могут быть оценены по достоинству русской публикой» [5. С. 40–41]<sup>4</sup>. На русский язык переводились не только главные труды Мацеёвского, но и менее значительные. В “Русской Беседѣ” была напечатана его статья “Голос из Польши по случаю спора современных русских писателей о начале развития общины – как старославянской вообще, так и русской в особенности” [6].

В письме к польскому ученому от 11 декабря 1859 г. И.С. Аксаков писал: «Милостивый государь! Редакция приносит Вам живейшую признательность за участие, принятое Вами в трудах “Беседы”. В VI книге “Беседы” 1859 года помещена Ваша статья в переводе П.А. Кулиша”. И далее: “К сожалению, обстоятельства не позволяют нам продолжить “Беседу” в 1860 г.; вместо нее

---

<sup>4</sup> Письма И.С. Аксакова В.А. Мацеёвскому хранятся в LAPNP, в фонде В. Мацеёвского. Они также опубликованы в [5]. Нами сверен рукописный и изданный текст этих писем. В публикации отклонений от оригинала нет.

выйдут два или три сборника; а потом, при более благоприятных обстоятельствах, возникнет вновь и “Беседа”, но, вероятно, не раньше 1861 г.». Далее И.С. Аксаков добавляет, что «Редакция имеет честь прислать при сем сорок рублей серебром гонорария и экземпляр заключительного слова Русской Беседы. Вслед за тем Вы получите от редакции подробный отчет о присланных Вами сюда двух томах Вашей “Истории”» [5. С. 41].

Последнее замечание в письме Аксакова связано с тем, что в 1856 г. А.И. Кошелев обещал Мацеёвскому помочь организовать подписку на книгу “История славянских законодательств” в Москве и Петербурге и получил для этого от автора 20 экземпляров книги [5. С. 37–38]<sup>5</sup>. Но труды польского ученого не пользовались большим спросом, что объясняется, с одной стороны, новизной предмета, а с другой – состоянием славяноведения в России. Книгой Мацеёвского заинтересовались лишь узкие круги славистов, несколько научных обществ и группа чиновников. В связи с этим И.С. Аксаков писал Мацеёвскому 23 декабря 1859 г.: “В редакции “Русской Беседы” имеются Вашего сочинения “Historia prawodawstw” и проч., 1 и 2 тома. Возвращая при сем по тяжелой почте шесть экземпляров и при них шесть билетов, редакция покорнейше просит Вас уведомить прямо от себя Александра Ивановича Кошелева в Москве, на Поварской, в собственной доме – 1) Сколько именно прислано было экземпляров 1 и 2 тома; 2) Какая именно цена назначена: на все издание или только на два тома; 3) Сколько и за какое количество экземпляров было выслано Вам из редакции “Русской Беседы” или от г. Кошелева денег? 4) За какое именно количество экземпляров следует, по Вашему собственному расчету, получить Вам денег. – Подпись: Ив. Аксаков” [5. С. 42].

Приведенные в настоящем сообщении примеры контактов И.С. Аксакова с западнославянскими учеными свидетельствуют о том, что его взгляды на славянство отличались определенной дифференцированностью. Признавая единство славян в теории, на практике он видел их духовную неоднородность, упуская из вида то обстоятельство, что именно она была неодолимым препятствием к объединению. В то же время безусловно прогрессивным фактом следует считать стремление Аксакова обогатить через свой журнал русское общество сведениями о славянах, ранее неизвестными, и тем самым способствовать его просвещению. В этом состоит, на наш взгляд, позитивное значение программы Аксакова, которую ему, к сожалению, осуществить не удалось по причинам, от него не зависящим.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Письма к Вячеславу Ганке из славянских земель / Изд. В.А. Францев. Варшава, 1905.
2. *Гильфердинг А.Ф.* Письма об истории сербов и болгар // Русская Беседа. 1859. Т. 3. Кн. 15; Т. 4. Кн. 16.
3. *Мацеёвский В.А.* Введение в историю славянских законодательств // Телескоп. 1835. № 3–4.
4. *Мацеёвский В.А.* Очерки истории письменности и просвещения славянских народов // Чтения общества истории древностей российских. 1846. Кн. II.
5. Из переписки В.А. Мацеёвского с русскими учеными / Сообщил В.А. Францев. М., 1901.
6. *Мацеёвский В.А.* Голос из Польши по случаю спора современных русских писателей о начале развития общины – как старославянской вообще, так и русской в особенности // Русская Беседа. 1859. Кн. VI. Отд. “Смесь”.

<sup>5</sup> Письмо А.И. Кошелева В.А. Мацеёвскому написано в июле 1856 г. (точная дата не указана).



© 2005 г. И.В. ЖУК

## ИНВАРИАНТНОСТЬ НАЧАЛ: ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД МЕТРИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ БЕЛОРУССКОЙ ПРОЗЫ НАЧАЛА XX СТОЛЕТИЯ

Классическая белорусская проза родилась чуть более столетия назад. В принципе, вековой промежуток для изящной словесности – это немало, но только в том случае, если в развитии художественного сознания сохраняются периоды такого его состояния, когда художественная мысль довольно устойчиво согласуется с требованиями, предъявляемыми эстетической эпохой, т.е. чистого, так сказать, функционирования художественного сознания. У белорусов столь идеальных периодов в литературном развитии не было ни до рождения прозы, ни после. Все здесь очень близко, уплотненно. И феномен ее первообразцов из-за видимой укороченности исторической дистанции активно проступает в творческом сознании практически всякого литературного поколения, начинающего художественную деятельность. Присутствие ее зачинателей ощутимо в творческом процессе настолько, что, кажется, и Янка Купала, и Якуб Колас, и Максим Богданович, и Максим Горецкий, и Змитрок Бядуля – блестящая плеяда писателей, сплоченная вокруг уникальной в истории белорусской культуры и общественной жизни газеты “Наша Нива” (1905–1915) – физически где-то рядом, и лишь на некоторое время отошли по очень важным и нужным делам.

Мы неплохо изучили их нравственный, этический опыт, глубину и значимость созданного ими национального образа мира, но со всей определенностью можно утверждать, что многие тайны творчества остаются для литературоведения большой гносеологической загадкой. В том числе и представление, каким неповторимым “дыханием” всякая литература составляет феномен национальной духовной жизни и каково влияние текстовых структур на историю эстетического развития литератур.

Кем-то из современных ученых остроумно подмечено, что “структуры не выходят на улицу”. Действительно, они не выходят на улицу. Но необычайность внутренней структурной жизни текста может очень многое прояснить в существе и смысле “уличного”, т.е., общественного бытия литературы. Так, например, пристальное внимание к ритмичному<sup>1</sup> состоянию прозаического

---

Жук Игорь Васильевич – канд. филол. наук, доцент кафедры белорусской литературы Гродненского государственного университета им. Янки Купалы.

<sup>1</sup> Следует различать два понятия, близкие по звучанию, но очень нетождественные по смыслу – ритмичное и ритмическое.

текста дает возможность увидеть процесс формирования национальной традиции в несколько неожиданном и непривычном свете – увидеть различные стратегии структурного оформления того явления, которое мы называем привычным термином “национальный образ мира”.

В ритмике прозы (сразу оговоримся, что речь идет о наиболее распространенном варианте прозаического высказывания, не ориентированного специально и не обремененного сознательной установкой на метрический или ритмический системообразующий принцип) очень сильно “прослушиваются” неведомые другим уровням художественного мышления голоса – голоса столетий художественного разума, сохраненные в слове, и голоса современности, сообщенные слову непосредственным автором. Все многочисленные авторские признания насчет изначального “гула”, “тона”, специфической настройки на первую фразу есть, по большому счету, признания счастливой встречи авторского тона с обертоном того “гула” и “тона”, который уже существовал в долговременной памяти национального эстетического сознания. Это встреча того, что было до тебя, с тем, что в данный момент ты способен предложить литературе. И результаты этой встречи могут оказаться весьма и весьма впечатляющими.

Алесь Адамович, называя поэму Якуба Коласа “Новая земля” “поэтическим верховьем белорусской прозы” [1], прежде всего образно формулировал лишь факт очевидной белорусской запоздалости в вербальном выражении национального прозаического эпоса. Время же показывает и нечто иное в этой формулировке. Очень строгая во внимании к деталям и бытовым “мелочам” жизни, стилистически по преимуществу лапидарная (В. Быков – максималистский вариант ее лапидарности), сознательно уклоняющаяся от внешней аффектации белорусская проза в истоковом периоде, как показывают наши исследования по изучению системы ее ритмических кодов, испытывала очень существенное влияние поэтического конструктива.

Одно дело – наблюдать такой конструктив в прозе самого Я. Коласа, чье творчество органично соединяет и стихотворную, и прозаическую сферы мышления. Или чуть раньше, в девятнадцатом веке, – у Франтишка Богушевича. И совсем иное, например, – у Максима Горецкого<sup>2</sup>, который в писательском деле в качестве актуального, а для себя – основного выдвинул девиз: “Прозы! Хорошей белорусской прозы...”.

Но любопытно другое: Ф. Богушевич, Я. Колас или М. Горецкий – люди с разным творческим опытом встали рядом друг с другом не потому, что в близкой степени владели способностью к поэтическому и прозаическому самовыражению, а по причине, так сказать, онтологической – их соединило сформировавшееся к тому времени своеобразие просодии белорусского языка. Большая история и трагическая судьба этого языка, когда он из “державного” искусственно превращался в изгой в своем краю, все же привели к некому положительному моменту: плохо приспособленный к началу XX в. к официально-деловому стилю, он оказался очень гибким и удобным по внутренней про-

---

<sup>2</sup> Человек исключительной разносторонности, М. Горецкий был типичным представителем белорусского возрождения начала XX столетия (ученый-филолог, фольклорист, этнограф, педагог, крупный общественный деятель, писатель) с типичной трагической судьбой: погиб в сталинских лагерях.

содической структуре для художественной литературы, в первую очередь – для поэзии.

Дело в том, что белорусский язык относится к языкам со слогосчитающей тенденцией. Все основное, что образует качество национальной просодии, и, соответственно, предопределяет качество стилистики, происходит здесь в слоговом составе. И происходит с удвоенной энергией. Сила слога такова, что слог доминирует даже над ударением: белорусское слово не может состоять больше чем из трех безударных слогов, после которых всегда и в обязательном порядке в слове появляется дополнительное ударение. Совершенно очевидно, что слово, принципиально не удаленное по количеству слогов от трехсложного, гораздо прочнее и естественней ложится в схему силлабо-тоники, чем слово более длинное или даже сверхдлинное. Таким образом, формально-слоговой состав неупотребляемого в официальном обращении языка едва ли не идеально соответствовал наиболее развитой к началу XX ст. системы стихосложения – метрическим заданиям силлабо-тоники. И когда состоялось их движение навстречу, казалось, что явление это как бы исторически предопределено. Неудивительно, что Адам Мицкевич в знаменитых сорбоннских лекциях назвал белорусский язык одним из наиболее поэтичных в славянском мире. Неудивительно и то, что безо всякого серьезного предварительного опыта литература на этом языке так легко и непринужденно осваивала культуру стихосложения в анонимной поэме “Энеида наизнанку” и – особенно – в “Тарасе на Парнасе”.

Видимо, эта поэтическая специфика национальной просодии отразилась на стадиальном развитии прозы. Чтобы решать задачу “хорошей прозы”, литературе, однако, следовало бы освободиться от плена собственной поэтичности. Опыт М. Горецкого очень показателен в этом отношении.

Дело в том, что в прозе Горецкого действительно сосуществуют силы таких мощных межсловных отношений, которые образуют своеобразную неразложимость и целостность словесного ряда, близкую по своему качеству к поэтическим технологиям. Нет в истории национальной литературы писателя, у которого столь регулярно встречалось бы такое архитектурное строение текста, как соответствие отдельного предложения одному абзацу. Устойчивость функции “предложение–абзац” склоняет к мысли о своеобразии данного типа художественного мышления, заключающемся в преобладании строфического мышления. Далее: ведущим принципом в образованной “строфе” начинает выступать актуализация грамматических и синтаксических связей, в движение приходят семантические пласты такой плотности, когда взаимные уточнения, повторения, охотное и частое использование лексем с уменьшительно-ласкательным значением становятся в ряд опорно-акцентных явлений, а эвфонике однородных суффиксов вкупе с семантическим анжамбеманом сообщается функция, синонимичная функции суффиксально-грамматических рифм.

Однако если бы намеченные пунктиры повторяемости вербальной составляющей текста дополнительно подтверждались еще и в слоговом составе текстовых фрагментов, то чем больше таких подтвержденных повторений отыскивалось бы в текстовом пространстве, тем меньше оставалось бы оснований говорить о тексте как о прозаическом явлении. В этом случае неизбежно происходит разрушение прозаического начала; непрозаический конструктив все более вытесняет за пределы текста проявления прозы. На вытесненном чис-

том поле вместо метрически разнообразной самоорганизованной структуры свободу получает стихия ритмически и метрически упорядоченного текста по примеру, скажем, “Петербурга” А. Белого, который стал для русской литературы существенным, но тем не менее переходным опытом более или менее удачного эстетического эксперимента. Белорусская же литература начала столетия такой роскоши позволить себе не имела ни возможности, ни права. И М. Горецкий – вот что остается поистине неразрешимой загадкой! – сознательно “крошил” текст на, казалось бы, метрически хаотические кусочки, чего практически нет в литературных опытах его современников. Сильная неравносность метрической системы, в чем-то опережающая, как нам кажется, даже общие тенденции эстетики начала века, составила неперемное условие существования художественного текста этого прозаика.

Здесь мы вынуждены сделать предварительное уточнение. Во-первых, прозаическому слову совершенно определенно присуще метрическое состояние. Рамки данной статьи не позволяют подробно, а главное аргументировано, сосредоточиться на всей сложности этого часто рассматриваемого, но малоизученного вопроса, однако собственные многолетние стилеметрические исследования ритменных микроструктур прозаического текста позволяют нам сделать заключение: динамические взаимодействия колоновых единиц приводят к образованию в глубинах текста различного рода симметрических комплексов, устойчиво обнаруживаемых экспериментальным путем и достаточно индивидуальных для каждого автора, обладающих качеством повторяемости и создающих условия для восприятия колона метрическим словом.

Второе. Предлагается следующая “размерность” колона: гиперкороткий (1–2 слога), короткий (3–4 слога), регулярный или нормативный (7±2 слога), долгий (10–11 слогов) и гипердолгий (свыше 12 слогов). Пятиступенчатая классификация колонов удобна тем, что позволяет довольно плотно приблизить их поведение к тончайшим нюансам текста, ибо даже один слог способен вызвать в ритмическом рисунке очень существенные изменения. Поскольку все измерения осуществлялись на белорусскоязычном материале, то – да будет это простительным – все основные текстовые цитаты во избежание неточности обхождения с полученными базами данных приводятся на языке оригинала (в скобках обозначен слоговой состав колона).

Вернемся, однако, к Горецкому: «Вязуць людзі // (4), апрануўшыся ў вялікія шэрыя армякі з шырокімі каўнярамі // (23), падбітыя белымі // (7) і нават чорнымі аўчынамі // (10), вязуць ад месяцачковых скупшчыкаў // (10) сваю і панскую пяньку // (8), лен // (1), канаплі і семя // (6), і з нейкім грэблівым // (6), зняважлівым падзівам // (7) паглядаюць на кароткія // (9), “на вілачках” // (4), белыя світкі ў асмолаўцаў // (9); яны пільнуюцца свой свайго // (9); а калі едуць назад // (7), легкімі вазамаі // (6) з бакалеінымі і краснымі таварамі // (13), дык не варочаюць з дарогі // (9) перад цяжкімі вазамаі асмолаўцаў // (12): ім карціць // (3), каб сцэбануць доугаю пугаю // (10) чужую кабыленку // (7); а на заездным двары ў Лугвеневе // (11) яны жартуюць і дурэюць // (9), маюць сябе запанібрата // (9) з самім Еськам // (4), гаспадаром заезду // (7), п’юць гарэлку цэлым грудам // (8), ядуць сала і драчаны з салам // (10); яны са смехам міргаюць той таму // (11), калі высокі // (5), худы і белабрысы асмолавец // (11), з дзюма-трыма валасінкамаі // (9) замест людскай барады // (7), і ў сваей світцы // (5) – “на вілачках божны страх” // (7), і ў сваіх жыдзенькіх // (6), не па сцюжы // (4), пасконных штанах // (5), туляючыся і хаваючы вочы // (12), адзінцом вып’е сотку // (7),

згрызе сухі таран // (6), прымасціцца рачыкам у здзіравых “копаніках” // (15) (санках // (2), з не гнутага // (4), а копанага ў лесе // (7), з крывых карэнняў // (5), вобаддзя) // (3) – і патурыць хударлявую сваю кабылку // (14), з белымі ад шэрані бакамі // (10) і выпнутым калматым брухам // (9), па дарозе на паснулае Асмолава... (13)» [2. С. 127].

Это самое рекордное по количеству использованных словоформ (их 186) из обследованных текстов законченное предложение и самый уникальный случай продолжительности высказывания, поскольку представляет собой в художественной практике своеобразный пример композиционного мышления целой строфой-периодом, т.е. строфического мышления в текстоструктуре прозы. Уплотнение конструкции формального выражения одной натурной зарисовки в одну единицу – одно предложение – создает иллюзию цельнозавершенности, как это чаще всего происходит в пределах одной строфы поэтического произведения.

Целостная зарисовка настроений, быта, нравов, статуса отношений жителей деревушки Осмолово, осмоловцев, с чужаками из соседней “хлеборобной” Мстиславльщины, которые “с самим Еськой” “запанибрата”, емко обличилось в одну строфу-период, объединенную общим синтаксическим соподчинением с соответствующими процессами “взаимоперетекания” компонентов, характерных общей структуре. Такая особенность синтаксиса вкупе с привычными и даже естественными для стилистики М. Горьцкого видами разных параллельных и тавтологических конструктивов (*везут ...везут; сало* и *драчаны с салом; тот этому*), семантических оппозиций (*легкие дрожки мстиславльцев* и *грузные возы осмоловцев*), грамматически однородных сочетаний (кобыленку, волосинками, кобылку, жиденьких) создают архитектуру ритма, поскольку все здесь направлено на концентрацию содержания, на уплотнение зрительного образного посыла. А метрика, метрическая структура своей системной неравновесностью разбрасывает по тексту сгустки эмоции (явление, по существу, стихотворного порядка) и выступает в таком случае *композиционным* элементом (о распределении структурных компонентов на архитектурные и композиционные см.: [3. С. 20]) данной текстовой структуры.

Но на этом композиционный момент метрики далеко не исчерпывает себя. Равноценные сочетания, приравнивания, уподобления в прозаическом тексте определяют зону слабых напряжений и составляют незначительный процент от общего покрытия текста (около 8%). Все же остальное – различного рода расподобления. Причем из этого “остатка” (хотя на самом деле “остатком” следовало бы считать, наоборот, тенденцию приравниваний) около четверти текстового пространства составляют случаи, когда в смежных позициях сочетаемости оказываются пары гиперкороткого и гипердлинного колона (и наоборот), гиперкороткого и длинного (и наоборот), короткого и длинного (и наоборот), т.е. такие колоновые пары, которые самым решительным образом разграничиваются между собой по слоговой структуре. Столкновение соседствующих колонов, насчитывающих разницу в слоговом составе более чем в пять слогов, следует квалифицировать как ситуацию метрического взрыва. Есть достаточно оснований считать, что “метрический взрыв”, пожалуй, и составляет зону текстуальных напряжений гораздо более сильных и перцептивно более значительных, чем успокоительное течение равноценных повторов.

Значительная часть текста действительно сосредоточивается на “взрывных” точках. Значит, какие-то очень филигранные процессы, не менее значи-



тельные, чем в привычных для ритмического понимания цепочках колоновых приравнений-сходств, протекают и здесь. Метризованный бег фразы неестественен для прозы, строгая метрика в данном случае не знает внутри себя иных задач, кроме исключительно собственных; на “преградах” же глаз останавливается чаще и чаще фиксирует что-то непривычное, требующее дополнительной активизации внимания. А поскольку взлом “преграды” уже сам по себе требует определенных излишков перцептивной энергии, сами смежные колоны с ярко очерченным контрастным характером слоговой неоднородности создают весомую дополнительную систему сопроводительных пауз.

Уже самая первая пара колонов из вышеприведенного высказывания М. Горьцкого (“Вязуць людзі //, апрануўшыся ў вялікія шэрыя армякі з шырокімі каўнярамі”) связана линией наибольшего метрического сопротивления, когда рядом оказались короткий (в четыре слога) и гипердолгий, редкого по употребимости двадцатитрехсложного порядка, колон. Компактность натурального рисунка, создаваемого автором, требовала и такого же компактного, объемного и зримого, выразительного изображения мира, окружающего белорусского простолюдина. Можно, конечно, написать проще – “люди в армяках”, – и самой информации для *начинания картинки вообще* было бы достаточно. Но специфика колона и его отличие от речевой синтагмы прежде всего и заключается в том, что понятийно-информационное и образное начала интегрируются как своеобразная разновидность тематически-рематического задания. Обобщение, как и во всякой образной структуре, подразумевает обязательный процесс конкретизации. В самом деле – что представляли собой люди (это следует считать темой высказывания), одетые в армяки? Получая ответ на этот вопрос через детальную характеристику армяков, мы одновременно получаем и новое образное сообщение, а именно: большие, серые, с широкими воротниками (колоновая рема). Для М. Горьцкого конкретика армяка, по всей вероятности, была столь значительной, что он не считал возможным рематический комплекс измельчать на однородные слагаемые. Обобщенное и конкретное сошлись в одном динамическом напряжении, завязанном на разрешении конструктивной ситуации посредством метрического взрыва.

Они, метрические взрывы, по преимуществу и составляют цепочку динамических напряжений в дальнейшем. Богатые люди в “армяках”-тулупах контрастируют с изможденными, обнищавшими осмоловцами-”вилочками”: “широкие воротники” с превосходством “паглядаюць на кароткія // (9), “на вілачках” // (4), белыя світкі ў асмолаўцаў // (9)”, и их превосходство тоже ведь текстуально определено ситуацией взрыва – четырехсложный колон, характеризующий социальный, имущественный и психологический статус этих нескладных “героев истории” отражен контрастным противостоянием равноценных девятисложных колонов. Еще сильнее, однако, динамика напряжений чувствуется не только в последовательно-линейном, но и в гипертекстуальном соотношении, которое напрашивается как очередное метонимическое столкновение короткого колона “на вилочках” с изначальным гипердолгим, в двадцать три слога, предшественником – характеристикой “армяков”-тулупов.

Аналогичным принципом и на той же семантической основе строится и последующее текстуальное метрическое столкновение: “яны са смехам міргаюць той таму // (11), калі высокі // (5), худы і белабрысы асмолавец // (11)”, примыкающее к завершающей фразе сквозного текста движением колонов

едва ли не сплошь расподобленного слогового состава, где система пауз также выступает в качестве разрешенных динамических напряжений, а нормативный колон практически ничем не выражает свою регулярность (цитату продолжаем): « і ў сваіх жыдзенькіх // (6), не па сцюжы // (4), пасконных штанах // (5), туляючыся і хаваючы вочы // (12), адзінцом вып'е сотку // (7), згрызе сухі таран // (6), прымасціцца рачыкам у здзіравых “копаніках” // (15) (санках // (2), з не гнутага // (4), а копанага ў лесе // (7), з крывых карэнняў // (5), вобаддзя // (3) – і патурыць хударлявую сваю кабылку // (14), з белымі ад шэрані бакамі // (10) і выпнутым калматым брухам // (9), па дарозе на паснулае Асмолава... (13)».

Здесь напрашиваются еще два необходимых наблюдения.

Во-первых, наши исследования показали любопытную статистическую закономерность. Если уподобления в ритмном состоянии текстов различных белорусских авторов составляли численные величины довольно внушительной амплитуды (к примеру, 15 случаев у М. Горецкого против 32 у Янки Брыля), то “метрический взрыв” в признаковом пространстве составил зону взаимопересекающихся значений. Я. Брыль, К. Чорный, И. Мележ, В. Быков (порядок перечисленных авторов соответствует вектору возрастания от меньшего числа уподоблений к большему) расположились в пределах 17–19%, а Я. Колас и М. Горецкий дали около 21.5% покрытия “взрывными” точками от общего числа колоновых распределений всего текста. Численные данные внушительны, в теории вероятности их внушительность свидетельствует в пользу исключительной устойчивости обнаруживаемого ими явления. Это, в свою очередь, должно означать, что творение прозаического текста по принципу столкновения колонов с солидной разницей слогового состава заставляет рассматривать ситуацию “метрических взрывов” как принципиальную текстовую закономерность в отличие от всевозможных равенств, имеющих в прозе лишь вероятностный характер проявления. И, следовательно, это методологическая ошибка – выуживать из прозаического текста случайные равенства как установленный закон этого типа художественного ритма. На самом же деле именно неравенствами – особенно значительной амплитуды колебаний – определяется сфера наиболее серьезных динамических текстовых напряжений.

Второе наблюдение связано с тем, что ситуация “метрических взрывов” и метрических приравниваний, а также то, что регулярный колон очень нерегулярно используется как позиционное уподобление (схема паузальных распределений последней фразы М. Горецкого 6–4–5–12–7–6–15–2–4–7–5–3–14–10–9–13), лишний раз подчеркивает: метрика прозаического текста в линейном ее понимании есть бесконечная непредсказуемость и вряд ли когда-нибудь поддастся квалифицированной систематизации, позволяющей установить условия хоть сколь-нибудь определенной периодичности чередования. Но применительно к художественной прозе линейные представления о структуре текста лишены эстетической корректности, прозаический текст не осуществим в “линейке”. Он, так же как и текст поэтический, может существовать лишь в многочисленных соподчинительных связях неоднородного пространства. Так, говоря о ритмических его доминантах, следует иметь в виду, что развертывание прозаического текста в читательском восприятии осуществляется как перманентный процесс наложения пауз вслед (или скорее всего изохронно) за образными посылами-ассоциациями, и прежде всего понятийно-образными посылами, входящими в междупаузальный промежуток (колон). Все типы на-

личествующих пауз участвуют в общей метрической проекции и участвуют крайне усложненным и невероятным для “линейки” принципом: противостоя один другому, и в тоже время – через наложение одного на другой, друг в друге растворяясь. Правда, в отличие от поэтического текста, где метр, затвердев, доведен до самоценности искусственного приема, проза искусственные метрические “швы” колонов уничтожает, делает их нарочито неприметными и линейную цепочку метрических единиц заключает в единый комплекс – *сгусток метра*, метрический образ данного прозаического текста, который, надо полагать, и представляет собой довербальную основу соответствующей авторской интонации.

Если бы для наглядности представить себе динамику ритменных изменений различных текстов М. Горецкого (рассказов, миниатюр, повестей), рисунок получился бы вполне показательным: все произведения “обвивают” мнимый ствол срединного – “осевого” – значения, вьются вокруг него, утверждая наличие мощных центростремительных сил, старающихся все разнонаправленные динамические напряжения сфокусировать на узкой полоске креативного пространства. Этим самым подтверждается и основной тезис: феномен М. Горецкого не в размытости и ослабленной перцептивности метрической основы, а наоборот, в креативных потенциях его творчества, в активном взаимодействии архитектурных и композиционных составляющих текста как системы, постоянно ищущей пути собственной самоорганизации.

Это качество текстообразования становится более понятным при сопоставлении с другим автором, Я. Коласом, у которого, к примеру, свобода межсловных клитических сдвигов внутри фразы по своей природе напоминает больше свободу поэтических инверсий. Если у М. Горецкого сильный метрический разброс, сплошное нарушение автоматизма восприятия текста компенсируется частым обращением к контрастивному столкновению семантики настолько, что и само обращение становится непосредственным метризирующим моментом текста, то у Я. Коласа мы встречаем нейтрализацию повышенной поэтичности языковой реальности текста исключительно типичной и даже образцовой для прозы схемой правильного распределения колоновых классов. Это значит, что уже в самом начале своего становления белорусская национальная классика создавала взаимосвязанные и в то же время уникальные и неповторимые стратегии прозаического текста: у Горецкого – назовем так – стратегия текстовой *интрографии*, когда ритменная доминанта имеет своим направлением глубины текста, всяческие намеки на ритмизацию писатель опровергает либо ситуацией “метрических взрывов”, либо вообще изменением строя тонических ударений, которые прочерчивали бы путь к метрической урегулированности фразы. У Я. Коласа, наоборот, – стратегия текстовой *экстраграфии*, когда текст через калейдоскоп подчеркнуто выразительных планов, философско-аналитических, аллегорических, лирико-публицистических ответвлений укладывается одним сплошным вектором, острие которого все время стремится нащупать кратчайший путь к разрешению кульминационных моментов повествования.

Но и это не окончательное наблюдение. Стилеметрический анализ ритменного состояния белорусской прозы свидетельствует, что сведение так называемого аналитического направления к одному креативному началу, к творческому опыту одного или даже двух гигантов – зачинателей белорусской прозаической традиции существенно упрощает динамику становления

национальной литературы и противоречит самой сути живого литературного процесса. Как показывают исследования, белорусская проза на начальной стадии развития одновременно имела несколько отправных пунктов, где и М. Горецкий, и Я. Колас, и З. Бядуля, и К. Чорный сообщали ей столько позиций соприкосновения и столько фактов взаимного “перекрестного опыления”, что становится совершенно очевидным: у литературы был богатейший выбор творческих направлений. Неразрешимой проблемы, за кем пойти и какую творческую ниточку избрать, для нее не существовало. То, что основным выбором сложился в пользу реалистически-аналитического направления художественного развития и реализм надолго предопределил сущность “сotto-интонации” белорусской прозы (да и вообще всей литературы), исторически зависело от преобладавшего на тот момент эстетического идеала. В любой момент, сложись на то благоприятные условия общественного развития Белоруссии, свободу эстетического выбора литература могла реализовать по любому из уже заявленных творческих векторов – настолько самостоятельно целостными и настолько органически объединенными в общем эстетическом сознании выступают эти самые ранние фигуры-”глыбы” (М. Богданович) в “слоях” белорусского художественного слова начала XX столетия.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Адамовіч А.* Здалек і зблізку: беларуская літаратура на літаратурнай планеце. Мінск, 1976.
2. *Гарэцкі М.* Збор твораў у 4 тт. Мінск, 1982.
3. *Бахтин М.М.* Вопросы литературы и эстетики. Л., 1975.



© 2005 г. А.А. САВЕЛЬЕВА

## ПРОБЛЕМА АВТОТЕМАТИЗМА В РОМАНЕ КАРОЛЯ ИЖИКОВСКОГО “ХИМЕРА”

Категория метапрозы, возникнув относительно недавно, в 1970–1980-е годы, по справедливому замечанию М. Липовецкого, «оказалась приложимой к широчайшему кругу литературных явлений: от “Дон Кихота” и “Тристрама Шенди” до классических романов модернизма и новейших постмодернистских экспериментов» [1. С. 43], благодаря чему сделала блестящую карьеру в современном литературоведении. К метапрозе или метафигуральной прозе сегодня принято относить произведения, в которых “сознательно и систематически подвергается рефлексии их собственный статус как артефактов, с чем в свою очередь связано особое внимание к вопросам отношений между вымыслом литературы (fiction) и реальностью” (цит. по: [1. С. 45]). Иными словами, метапроза представляет собой своеобразную “прозу о прозе”, в которой, помимо прочего, речь идет о самой литературе, о принципах и способах создания (“выделки”) художественного текста и о творческом процессе, понимаемом как неотъемлемая часть жизни.

Польская наука о литературе по традиции использует для интерпретации произведений такого рода термин “автотематизм”<sup>1</sup>, автором которого по праву считается выдающийся польский критик и историк литературы Артур Сандауэр. В монографии “Самоубийство Митридата” А. Сандауэр впервые выделил в отдельную категорию художественные тексты, в которых предпринята попытка “преодолеть онтологический барьер между художником и произведением” [2. S. 508], и определил их как “автотематические”. В аспекте автотематизма польский критик рассматривает главным образом произведения западноевропейской литературы (а именно некоторые стихотворе-

---

Савельева Анна Алексеевна – аспирант филологического факультета МГУ.

<sup>1</sup> Во избежание разночтений в настоящей работе мы используем термины “автотематическая проза” и “метапроза” как взаимозаменяемые, хотя при более детальном рассмотрении не трудно заключить, что автотематизм является отличительным и, вероятно, наиболее существенным, однако не единственным признаком метапрозы в целом. М. Липовецкий наряду с автотематизмом (тематизацией процесса творчества) выделяет следующие устойчивые признаки метапрозы: обнажение авторской роли в литературной конструкции; зеркальность повествования; текст в тексте и рамочный текст; “обнажение приема” и, как следствие этого, активизация читателя; пространственно-временная свобода; исключительная роль пародий, самопародий и пр. [1].

ния П. Валери и “Фальшивомонетчиков” А. Жида). Одним из ярчайших примеров автоматического романа может служить книга К. Ижиковского “Pałuba” (в русскоязычной критике – “Химера”)<sup>2</sup>.

“Химера” (1902) – экспериментальный психологический роман – единственное значительное художественное произведение К. Ижиковского (1873–1948), известного в первую очередь как талантливый литературный критик.

Книга имеет сложную многоуровневую структуру, которая чрезвычайно важна для понимания текста, поскольку именно в ней (структуре), по справедливому замечанию О.Р. Медведевой, “наиболее ярко манифестируется сознание художника”. «Не тема, не сюжет, не герой – а именно конструкция, структура, форма несут глубинную идею романа, превращая “шум” в собственно “информацию»», – пишет О.Р. Медведева [4. С. 52].

Книга Ижиковского включает в себя несколько более или менее автономных текстов: новеллу “Сны Марии Дунин”, которой автор дает подзаголовок “палимпсест”, собственно роман “Химера” и три нехудожественных литературных текста, написанные в форме авторских комментариев, – «Примечания к “Химере»», «Толкование “Снов Марии Дунин” и их связь с “Химерой» и «Шанец “Химеры»».

К. Выка свел структуру романа к трем основным составляющим: “нормальный роман”, т.е. традиционное сюжетное повествование о героях, “аналитический квазироман”, т.е. научный трактат о романе, и “квазироман в романе”, т.е. прямая саморефлексия повествователя в процессе повествования (см.: [5]).

В центре “нормального” романа – история жизни поляка Петра Струменьского, который во время путешествия по Италии знакомится с молодой немецкой художницей Ангеликой Кауффманн. Между Ангеликой и Струменьским устанавливаются восторженные романтические отношения, подчиненные идее служения “великой идеальной любви”. После женитьбы молодая пара обосновывается в поместье Струменьского Вильчи, где старая садовая часовня становится художественной мастерской для Ангелики и местом романтических обрядов и медитаций для обоих супругов. Однако преждевременные роды и смерть ребенка обрывают недолгое счастье Струменьских. В отчаянии Ангелика совершает самоубийство. Петр дает клятву верности умершей, сооружает в часовне импровизированный храм в ее честь и посвящает дальнейшую жизнь служению культу своей погибшей возлюбленной.

Жертвой этой изоцирковой автомифологии героя становится сын Струменьского от второго брака, Павелек, которого Петр считает “духовным”

---

<sup>2</sup> Оригинальное название романа – “Pałuba” представляет собой трудно переводимое просторечное выражение, имеющее несколько самостоятельных значений. Сам Ижиковский приводит в книге выписку из словаря С. Линде, которая, однако, не дает полной информации о смысле названия: «Линде дает три значения слова “pałuba” (“łub”, “kadłub”): 1. покрытие телеги, 2. пень, остов (корабля), 3. старая злая женщина». Наконец, Ижиковский объясняет: “обычно это слово употребляется как презрительное прозвище неприятных, уродливых женщин” [3. С. 458]. В свете всего вышесказанного, название романа можно было бы перевести на русский язык как “Ведьма”, именно такой перевод дает Большой польско-русский словарь (М., 1998), хотя и оно не отражает всех – в том числе фонетических – нюансов оригинала. В настоящей работе используется название “Химера”, под которым стал известен художественный фильм по мотивам романа Ижиковского и которое предлагает в своей работе О.Р. Медведева.)

сыном Ангелики и вовлекает в свой иллюзорный мир. Петр показывает сыну автопортрет Ангелики, хранящийся в часовне. Таинственный образ сливается для мальчика со случайно услышанным и непонятым ему словом “палүэба”. Сбитый с пути Павелек вступает в связь с деревенской сумасшедшей – “палүэбой” Ксенькой. Случайно узнав об этом, старый Струменский убивает любовницу сына, тайно прокрадываясь ночью к Павелеку, и в отчаянном желании покончить с прошлым громит часовню, превращенную в храм Ангелики. В финале повествования Павелек падает с лошади и погибает.

Вторым фабулосодержащим текстом, включенным Ижиковским в структуру “Химеры”, является новелла “Сны Марии Дунин”, предваряющая собственно текст романа. Главный герой новеллы – молодой археолог, от лица которого ведется повествование, знакомится со странной девушкой Марией Дунин, уже много лет живущей в мире собственных сновидений. Дня для нее не существует, реальные события почти не имеют значения, зато по ночам она видит причудливые эротические сны. Влюбленный в Марию герой пытается излечить девушку от необычного недуга, но невольно сам втягивается в замысловатую интригу, связанную с участием в деятельности Братства Большого Колокола или “братства искателей идеала”, основанного родственниками Марии. Члены Братства ведут раскопки в поисках таинственного колокола, при звуках которого миллиарды лет назад на земле начинали бушевать бури и сверкать молнии.

Как видно, сюжеты обоих текстов содержат немало черт, в полной мере соответствующих жанровым канонам (и даже штампам) модернистского романа, в числе которых: интерес к бессознательному, субъективизация отображаемого мира, автомифологизм, эротизм, демонизация образа женщины и пр. Тем не менее, в литературе Молодой Польши “Химера” стоит особняком. Критик М. Гловинский в своем исследовании о младопольской прозе поднимает вопрос, “можно ли вообще трактовать ее как младопольский роман” [6. S. 254], а А. Хутникевич указывает, что книга Ижиковского явилась “событием необычайным, в момент публикации (в 1903 г. – А.С.) совершенно не понятным ни критиками, ни читателями” [7. S. 236]. Причины подобной оценки, по всей видимости, следует искать в необычной повествовательной структуре романа, подчиненной принципам автотематизма.

Здесь необходимо отметить, что автотематизм как таковой имплицитно присущ большинству модернистских текстов. Критики неоднократно обращали внимание на связь между метапрозаической поэтикой и модернистской концепцией автономии искусства и мифологии авторского “я”. По мнению М. Липовецкого, именно «метапроза в XX веке приобретает значение формы, наиболее точно подходящей для воплощения существенных элементов “кода модернизма”» [1. С. 46]. Не случайно “роман о художнике” – знаковое явление для литературы Молодой Польши. Тема творца и творчества в разных ракурсах разрабатывается во многих важнейших произведениях эпохи: “Гнилушках” В. Берента, “Homo sapiens” С. Пшибышевского, “Письмах безумца” А. Немоевского, “Генрике Флисе” С.А. Мюллера и др.

Новаторство Ижиковского по сравнению с его многочисленными последователями и предшественниками состоит в намеренной экспликации тех моментов, которые релятивизируют творческий процесс, подрывают сам статус художественного вымысла, посягая на такие до сих пор неприкосновенные его атрибуты, как самодовлеющий характер созданного в произведении мира

и внеположность автора этому миру. Благодаря введению в структуру романа разделов «Примечания к “Химере”», «Толкование “Снов Марии Дунин”» и «Шанец “Химеры”», мир произведения как бы “разгерметизируется”, преодолеваются границы, до недавнего времени отделявшие его от автора и читателя. «Я решил, – пишет Ижиковский, – применить совершенно новый литературный метод, воплотить идеал, давно уже занимавший мои мысли. Он основывается на перенесении центра тяжести с “шедевра” на лабораторию художника, т.е. за пределы произведения, именно туда, где бьет источник поэзии» [3. S. 375].

Таким образом, Ижиковский едва ли не впервые в европейской литературе (а “Химера” почти на четверть века опережает знаменитых “Фальшивомонетчиков” А. Жида) формулирует концепцию автотематического романа и выстраивает в соответствии с ней художественное произведение.

Вместе с тем, очевидным преувеличением было бы вслед за некоторыми исследователями утверждать, что сюжетное повествование в “Химере” представляет ценность только в качестве иллюстрации к научно-теоретическим изысканиям Ижиковского, “перекочевавшим” в роман из его ранних литературно-критических работ. История жизни Петра Струменского и авторский комментарий к ней являются в структуре романа равноценными, равновесными и сложным образом взаимосвязанными элементами, иерархически не подчиненными друг другу.

Помещенные после основного корпуса текста комментарии совмещают функции традиционных сносок-примечаний, заметок на полях и своеобразного путеводителя по роману. В них сосредоточена большая часть информации, дающей ключ к авторскому замыслу на этапах его возникновения, становления и реализации и нередко необходимой для понимания собственно текста романа. Так, на страницах “Химеры” несколько раз встречается определение “пункт фальшивый”. В «Примечаниях к “Химере”» Ижиковский разъясняет, что оно сигнализирует “сознательное или неосознанное замалчивание правды” [3. S. 530], т.е. попытку уйти от ответа, обойти неприятный вопрос стороной, а затем указывает страницы с примерами: “Он почти не отдавал себе в этом отчета, не хотел отдавать отчета (не хотел? не мог? пункт фальшивый)” [3. S. 117].

Таких слов-сигналов в “Химере” не менее десяти, каждое из них имеет свое значение и функции в повествовании: “непробиваемые стены” – сосуществование противоположностей; “гардероб души” – скрытые намерения персонажей; “химерический элемент” – ниспровержение иллюзий и др. Появление их без всяких разъяснений в собственно тексте романа вынуждает читателя постоянно обращаться к примечаниям, нарушая традиционную последовательность чтения от страницы к странице. К. Выка метко подмечает, что комментарии к “Химере” “облегчают изучение романа, не облегчая его чтение” [5. S. 236].

Вовлекая читателя в сложный многоэтапный процесс чтения-писания текста, Ижиковский, подобно сторонникам современных теорий чтения, дает ему свободу упорядочить разорванный мир романа, “вчитать” в него логичность и смысл. “Мне не к спеху, дорогой читатель, – пишет Ижиковский, – надоест тебе сегодня – закончишь завтра, послезавтра, поймешь меня через месяц, а может быть, через год” [3. S. 579].

Внутренний диалог автора с читателем, в ходе которого последний в известной степени уравнивается в правах с автором-творцом, становясь со-участ-



ником творческой игры, является, как уже отмечалось выше, константным признаком метапрозаического повествования в целом. В отличие от традиционных повествовательных форм, метапрозу характеризует высокая степень представленности автора, на наших глазах творящего (или разрушающего) мир произведения.

Степень манифестации авторского “я” в “Химере” такова, что главным (а при ближайшем рассмотрении – единственным) героем романа оказывается сам Ижиковский. Все остальные персонажи, а их в романе около тридцати, как правило, лишены подлинной индивидуальности и разыгрывают роли в “комедии характеров”: Струменьский – роль верного мужа, его вторая жена Оля – поочередно – счастливой жены, роковой женщины, обманутой жены, несостоявшийся жених Оли – Гаштольд – роль покинутого возлюбленного и пр. Критик С. Лак, исследуя систему образов в “Химере”, пишет: “Где сам Струменьский? Его нет. Автор не хочет, чтобы он был... Струменского не существует, это имя, фамилия, поэзия, вымысел” [8. S. 180].

Антимиметизм, т.е. обнажение “вымышленной” природы текста через разрушение предварительно созданного эффекта правдоподобия – одно из важнейших художественных открытий метапрозы. Если до сих пор достоинство литературного произведения определялось в первую очередь степенью его “истинности”, т.е. прямого соответствия окружающему миру, похожести на него, то метафигуральная литература отказывается от “наивного иллюзионизма”, предполагающего, что текст является подражанием (или продолжением) внетекстовой реальности.

Создавая образ Петра Струменского, Ижиковский пишет: “Справедливости ради я должен заметить, что описание скорби я сделал не по законам действительности, а по-книжному” [3. S. 122], или в другом месте: “Впрочем, тогда он еще не умел (или не хотел?) анализировать себя” [3. S. 98]. В обоих этих случаях имеет место “обнажение приема”, переносящее акцент с воспроизведения объектов внешней действительности на факт искусственности текста, его “деланности” согласно законам жанра или намерениям автора.

Следствием этого качества становится исключительная роль, которую в метапоэтике приобретают пародия, самопародия, ироническое сопоставление различных литературных стилей, жанровых форм и художественных течений.

Пародийному осмыслению в “Химере” подвергаются в первую очередь клише и штампы младопольской литературы. Ижиковский одним из первых обратил внимание на то, как легко модернистские идеалы могут трансформироваться в лицемерие, вульгарность и пошлость, и позже – в своей литературно-критической деятельности – неоднократно возвращался к этой проблеме<sup>3</sup>.

Наглядным примером бессмысленного подражания модным – декадентским – веяниям на страницах “Химеры” в первую очередь служит Гаштольд, выстраивающий свою жизнь по младопольскому образцу. “Любовь Гаштольда к Оле была одним из многочисленных воплощений образца, данного

---

<sup>3</sup> Наиболее ярко взгляды Ижиковского на литературную ситуацию современной ему Польши представлены в статьях из сборника “Слово и дело” (1913), где, по меткому определению Т. Бурека, Ижиковский как бы защищает модернизм от самого модернизма, который в определенный момент отказался от своих художественных амбиций либо упростил, обеднил их. Позднее Ижиковский скажет, что был единственным настоящим последовательным, декадентом (см.: [9]).

Мицкевичем, безнадежно влюбленным в Марылю, подражания которому с тех пор не избежал ни один наш художник” [3. S. 128] – не без иронии подмечает Ижиковский. Той же напасти – следованию расхожим шаблонам и штампам подвержены и другие герои романа: Оля ведет дневник, в котором пользуется пафосной, характерной для модернистских романов лексикой (“Сердце мое пожелало погрузиться в глубины этой таинственной печали” [3. S. 130]), Струменьский, работая над биографией Ангелики, “придавал своим воспоминаниям красивую форму, посыпая их поэтическим сахаром” [3. S. 232]. Наконец, на наиболее высоком уровне ироническое преодоление модернизма осуществляется в тексте вставной новеллы “Сны Марии Дунин”.

Ижиковский, разумеется, отдавал себе отчет в том, что пишет “Сны Марии Дунин” в рамках младопольской поэтики<sup>4</sup>. Сны как элемент бессознательного представляли исключительный интерес для писателей-модернистов и были широко представлены в модернистской прозе. Сон может встречаться в виде вставного рассказа, часто контрастирующего с действительностью, или же быть пророческим, предвосхищающим дальнейшие события. В ряде случаев, как, например, в “Сонной истории” В. Реймонта, грань между сном и явью размывается, и герои утрачивают чувство реальности. Поэтика сна, помимо прочего, как нельзя лучше отвечает специфически модернистским установкам на индивидуализацию и субъективизацию отображаемого мира.

Вместе с тем Ижиковский неслучайно предваряет новеллу “Сны Марии Дунин” подзаголовком “палимпсест”. Текст новеллы уподобляется старому пергаменту, на который когда-то был нанесен другой текст, причем ценность старого – затертого – текста, при ближайшем рассмотрении нередко оказывается намного выше, чем у того, что лежит на поверхности. В «Толковании “Снов Марии Дунин”» Ижиковский развивает эту мысль: «Так и в “Марии Дунин”. Автор официально высказывает свои убеждения, под которыми нужно суметь разглядеть иные, прямо противоположные предыдущим. А так как, в конце концов, он и те, и другие свои убеждения берет в кавычки, то можно сказать, что “Мария Дунин” – палимпсест в квадрате» [3. S. 560].

Иными словами, “Сны Марии Дунин” – тонко продуманная и блестяще осуществленная мистификация, жертвой которой, как не парадоксально, становится не только наивный читатель, но и сам автор. В собственно тексте романа Ижиковский с горькой самоиронией замечает: «В то время, когда Струменьский писал свой дневник, вышло в свет 20-е издание “Снов Марии Дунин”. Автор “Марии Дунин”, как известно, недавно умер на своей вилле у моря, пресытившись славой, почетом и церемониями, а к его могиле совершают паломничество декаденты со всего мира» [3. S. 236].

Суммируя все вышесказанное, можно с полной уверенностью утверждать, что “Химера” – один из первых автотематических романов не только в польской, но и в европейской литературе. Продолжая традиции модернизма, роман Ижиковского одновременно преодолевает их через переосмысление,

---

<sup>4</sup> Критика неоднократно обращала внимание на тот без сомнения примечательный факт, что “Сны Марии Дунин” создавались Ижиковским до появления фрейдовских работ по психоанализу, хотя их близость теориям немецкого ученого очевидна (компенсаторность, вытеснение, эротизм, своеобразная устойчивая символика и пр.). Герою новеллы также удастся войти в доверие к Марии, и она исповедует перед ним в надежде, что он ее излечит. Именно так Фрейд позже сформулирует главный метод психотерапии.

прокладывая тем самым дорогу новейшим поэтикам. И хотя перед нами, безусловно, модернистское произведение, в нем легче найти отличия, чем сходства с другими младопольскими романами.

Отчасти это можно объяснить несомненным писательским и провидческим даром самого Ижиковского, сумевшего опередить свою эпоху, отчасти – специфическими особенностями поэтики метапрозы, которая, по мысли М. Липовецкого, “настолько точно соответствует важнейшим интенциям модернистского дискурса, что именно в ней раньше, чем где бы то ни было, эти интенции в определенных точках стали выходить за пределы модернизма, в чем-то предвосхищая постмодернизм” [1. С. 50].

Как бы то ни было, художественные открытия Ижиковского нашли достойное продолжение в творчестве крупнейших польских писателей XX в. – В. Гомбровича, В. Маха, Т. Конвицкого, Е. Анджеевского. Наибольшее распространение традиции метапрозы получили в 1960–1970-е годы, когда в польской литературе появился ряд художественных текстов на автобиографической основе, сочетающих в себе элементы различных прозаических видов и форм. Польская критика назвала произведения такого рода “сильвами” (от латинского *silva rerum* – лес вещей). В основе польских сильв, так же, как и произведений французского *pouveau roman*'а или постмодернистских текстов, лежит, как правило, автотематическое повествование, которое мы впервые можем наблюдать в романе К. Ижиковского “Химера”.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Липовецкий М.Н. Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики. Екатеринбург, 1997.
2. Sandauer A. Samobójstwo Mitridatesa // Sandauer A. Pisma wybrane. Warszawa, 1985. Т. 2.
3. Irzykowski K. Pałuba. Sny Marii Dunin. Wrocław, 1981.
4. Медведева О.П. Молодая Польша: роман о художнике и роман о романе // На рубеже веков. М., 1989.
5. Wyka K. Wstęp do “Pałuby” // Modernizm polski. Kraków, 1968.
6. Głowiński M. Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej. Wrocław, 1996.
7. Hutnikiewicz A. Młoda polska. Warszawa, 1996.
8. Lack S. O doktrynerach // Lack S. Wybór pism krytycznych. Kraków, 1980.
9. Burek T. Cztery dyskusje Karola Irzykowskiego // Problemy literatury polskiej lat 1890–1939. Wrocław, 1972.



© 2005 г. Б.И. ЖЕЛИЦКИ, Ч.Б. ЖЕЛИЦКИ

## НОВЫЙ ВЕНГЕРСКИЙ ЦЕНТР СЛАВИСТИКИ И ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ ПРОБЛЕМ ПОДКАРПАТСКИХ РУСИН

В последние годы в научных кругах, да и в политике, заметен рост интереса к проблематике подкарпатских русин, к их истории, истории языка и культуры. Это относится не только к отечественной, но и к зарубежной, в том числе и прежде всего, к венгерской исторической и филологической науке. Интерес венгерских ученых вполне закономерен, ведь русины на западных склонах Карпат веками жили вместе с венграми и имели с ними общую многовековую историю. В советскую эпоху изучение проблемы русинства в СССР по ряду причин не только не поощрялось, но по сути оставалось закрытой темой для исследователей.

Коренные общественно-политические преобразования, наступившие в регионе на рубеже 80–90-х годов прошлого века, распад СССР и появление на политической карте нового суверенного государства – Украины, – вызвали в сопредельной с ней Венгрии потребность в подготовке кадров, владеющих языками и знающих культуру этой страны. Изменение ситуации стало определенным вызовом для венгерской славистики и выдвинуло на повестку дня проблему развития таких ее направлений, как украинистика и русинистика. “Эти события поставили перед отечественной украинистикой новые задачи, – отмечал впоследствии в одном из изданий Ниредьхазской Высшей Школы ее проректор Г. Секей. – В необычно короткие сроки местным специалистам пришлось обеспечить весь спектр условий для подготовки украинистов... Сотрудники кафедры украинской и русинской филологии с первых дней ее существования, преодолевая немалые трудности становления и роста кафедры, с воодушевлением начали активные исследования в области украинистики и русинистики” [1. 11.old.]. Названная кафедра была учреждена в вузе, территориально наиболее близко расположенном к Украине и имеющем самые тесные контакты с учеными закарпатского Ужгорода. Она была основана 25 февраля 1992 г. в Ниредьхазском педагогическом институте им. Дёрдя Бешшенеи, который с 2000 г. носит название Ниредьхазская Высшая Школа (НВШ).

---

Желицки Бела Иожефович – д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН.

Желицки Чилла Беловна – канд. ист. наук, научный сотрудник Института славяноведения РАН.

Кафедра украинской и русинской филологии НВШ получила статус университетской, с самого основания ею руководит проф. И. Удвари. Помимо учебной работы она ведет серьезные научные славистические исследования наряду с существующими в Будапеште, Пече, Сомбатхейе славистическими центрами Венгрии. Во всяком случае об этом свидетельствуют многочисленные публикации, которые выходят в серийном издании “*Studia Ukrainica et Rusinica Nyiregyháziensia*”. Кафедра за 12 лет своего существования стала настоящим научным центром венгерской хунгаро-русинистики и получила широкое признание как в самой Венгрии, так и за ее пределами.

Нельзя утверждать, что этому направлению славистики в Венгрии в прошлом не уделяли внимания, однако процесс научного исследования подкарпатских русин, которых русские путешественники XIX в. нередко называли угро-руссами, фактически был прерван длительным замалчиванием в условиях послевоенного 40-летия, когда территория Закарпатье – основной ареал проживания подкарпатских русин – была присоединена к СССР, а сами русины механически стали называться украинцами. В изменившихся условиях 1990-х годов в Венгрии, – несмотря на заметную вспышку националистических настроений на Украине, – ученые-слависты с возросшей открытостью взялись за изучение как языковых, так и историко-культурных проблем подкарпатских русин.

На кафедре украинистики и русинистики НВШ, как свидетельствуют изданные ею научные труды, изучают язык подкарпатских русин, особенности его исторического развития, литературу и культуру этого народа на различных этапах его истории. При этом характерно, что слависты из Ниредьхазы изучают проблемы не только тех подкарпатских русин, которые живут в современной Украине, но и в рамках всего бывшего Венгерского королевства. Дело в том, что подкарпатские русины, которые в исторической Венгрии проживали единым массивом на окраинных территориях северо-восточных и восточных комитатов (областей, жуп), после распада Австро-Венгрии и территориальных изменений, последовавших после двух мировых войн, оказались в пределах различных современных государств. Такие северо-восточные комитаты Венгерского королевства, как Сепеш, Шарош, Земплен, Абауй-Торна и часть комитата Унг (Ужанская жупа) отошли к Словакии, преобладающая часть комитата Унг, Берег, Угоча и Марамарош – к Украине. Но подкарпатские русины остались и в северо-восточной части Трансильвании, которая после Второй мировой войны была передана Румынии. Кроме этих районов проживания подкарпатских русин следует назвать также бывшую Югославию – главным образом территорию Бачки и Срема, нынешних Славонии и Воеводины, куда в XVIII в. они переселились из Подкарпатского края (см.: [2]). Все эти места расселения подкарпатских русин, их историческое развитие продолжают вызывать научный интерес и остаются предметом исследования венгерских славистов Ниредьхазы. “Особое место подобных исследований объясняется, во-первых, тем, что русины, веками живущие в Венгерском королевстве, всегда выполняли своеобразные посреднические функции в языковых и иных контактах венгров с русскими и украинцами”, – отмечает проректор НВШ. Обозначая задачи, стоящие перед венгерской русинистикой, он с полным правом указал на то, что в сопредельных государствах, “включая Украину, живут русины, история и культура которых тесным образом связана с историей и культурой Венгрии” [1. 12.old.].

Не затрагивая дискуссионные вопросы, связанные с ранней средневековой историей русин Подкарпатского края, все же необходимо отметить некоторые бесспорные исторические факты. О ранней истории, языковой и материальной культуре подкарпатских русин сохранилось весьма незначительное число достоверных сведений. По имеющимся скудным данным известно, однако, что в Карпатском бассейне ко времени прихода венгров проживали остатки разрозненных и малочисленных славянских племен, которых специальная литература именует болгаро-славянами и панноно-славянами. С XIII в. через хребты Карпат началось медленное и частичное проникновение восточных славян на окраины Венгерского королевства, этот процесс с начала XIV в. несколько усилился и, как свидетельствует венгерская историческая наука, туда по экономическим соображениям началось переселение пастухов и крестьян из Галича и Подолья. Так, в конце XIV в. было зафиксировано переселение до четырех десятков тысяч полиэтничной, разноязычной массы населения из Великого княжества Литовского во главе с князем Теодором Корятовичем. Сын литовского князя Корята (Кориата), внук Гедимины – князь Теодор поставил под сомнение власть своего дяди, великого литовского князя Витольда и в 1393 г. был им арестован, затем вплоть до 1397 г. находился в заключении. Вынужденный бежать из родных мест, князь затем нашел убежище в Венгрии, где от короля Жигмонда (Сигизмунда) получил в подарок замок Мункач (ныне г. Мукачево, Украина) и земли для расселения прибывших вместе с ним людей. Сам Корятович вплоть до своей кончины в 1414 г. жил в этих краях. Народное предание приписывает ему переселение из родных мест названного числа людей (которые и стали впоследствии ядром формирования будущего подкарпатского русинского этноса), а также основание вблизи Мункача (под горой Чернек) православного монастыря. Русинский автор XVIII в. И. Базилович ошибочно относит его основание к 1360 г. [3. С. 90–175]. Что же касается основания отдельного церковного прихода для переселенцев, провозгласившего независимость от православного епископата в Перемышле, то оно действительно имело место. На протяжении XVI–XVII вв. по мере увеличения численности подкарпатских русин они постепенно заселили и горные районы северо-восточных комитатов Унг, Земплен, Шарош, а позже – Абауй и Торна [4. 191–192, 243–244.old.], а затем во время второй волны миграции проникли и в южные регионы исторической Венгрии.

Таким образом, основу формирования подкарпатского русинства составили названные группы переселенцев Корятовича, ряды которых со временем пополнялись крестьянами в результате их медленного проникновения через горы с восточных склонов Карпат в восточные окраины Венгерского королевства. Эта полиэтничная масса и была со временем объединена, прежде всего, благодаря основанию и развитию собственного религиозного центра, вокруг которого впоследствии и развернулся медленный процесс формирования письменности и литературного языка подкарпатских русин. Название этого подкарпатского славянского народа в венгерской и зарубежной литературе в эпоху всеобщей распространенности латинского языка в равной мере обозначалось на протяжении веков как *Rutén* или *Ruthen* (*рутены*), а в новейшую эпоху, следуя народному самоназванию, – *русины*. Именно этими терминами пользовались для определения своего народа, описания его истории и культуры такие известные и авторитетные исследователи – выходцы из Подкарпатского края, как упомянутый протоигумен И. Базилович (1742–1821), первым

написавший историю переселения русин, а также их историю в Подкарпатье до 1789 г., а позже языковед и историк М. Лучкай (1789–1843), составивший грамматику церковно-славянского языка подкарпатских русин, ученый-исследователь А. Годинка (1864–1946), написавший “Историю карпатских русинов”, а также историю мукачевского греко-католического епископата [5]. Перечень известных деятелей – выходцев из рядов подкарпатских русин, получивших образование в университетах Европы, вписавших свое имя в историю не только своего народа – этим далеко не исчерпывается. Здесь достаточно напомнить, что к их числу принадлежали ученый М. Балудянский (1769–1847), первый ректор Петербургского университета, или ученый, медик, педагог И. Орлай (1770–1829), гоф-хирург при царском дворе и директор Ришельевского лицея в Одессе и нежинской гимназии, где учился Н.В. Гоголь. Все эти деятели в равной мере стояли на позициях переселения предков русин в Подкарпатье.

После Первой мировой войны, когда подавляющее большинство подкарпатских русин оказалось в составе новообразованной Чехословакии, а в условиях Второй мировой и после ее завершения – в разных государствах, им далеко не всем удалось сохранить свою национально-языковую идентичность. Так, со второй половины 40-х годов XX в. в СССР, как и в Чехословакии, они в национальном отношении, как уже указывалось выше, были записаны украинцами. В Венгрии и Румынии их стали называть “украинцами (русинами)” или “карпато-украинцами”. Однозначно лишь в Югославии за ними было сохранено собственное название – русины. Более того, югославские русины сохранили и официально кодифицировали свой родной язык и литературу, поэтому в лингвистическом смысле их языковой материал остается весьма интересным полигоном для языковедческих исследований. Того же добились русины Словакии в 1995 г., кодифицировав свой вариант литературного языка [1. 102.old.; 6. P. 78].

Из сказанного вытекает, что проблемы, связанные с изучением как исторических, так и этнических, языковых и культурно-религиозных аспектов развития подкарпатских русин, ставят перед исследователями далеко не простую задачу, которая к тому же одновременно требует освещения вопросов национальной идентификации и самоидентификации. В изучении безусловно нуждаются исторические, лингвистические, культурно-религиозные, литературные, межэтнические и прочие проблемы этого немногочисленного славянского народа. Свой весомый вклад в разработку части этих проблем, относящихся ко времени становления русинской письменности, уже внесла кафедра украинистики и русинистики НВШ, о чем красноречиво свидетельствует аннотированный сборник библиографии более четырех десятков научных трудов, подготовленных и изданных за время ее существования [1]. Некоторые из этих книг любезно прислал нам проф. И. Удвари, откликнувшись на одну из публикаций журнала “Славяноведение”. Они и служат основой для настоящего анализа, в котором, не касаясь сугубо лингвистических проблем русинского языка (коим посвящено большинство изданий кафедры), мы остановимся лишь на некоторых моментах его исторического развития и ключевых вопросах русинской истории и религиозной культуры в пределах Венгерского королевства, затронутых авторами ниредьхазских изданий.

Венгерские ученые обращаются в основном к вопросам исторического развития русинского языка (выявление и анализ языковых памятников, грамматики и словарного состава, языковых заимствований и пр.), но попутно ими

освещаются и некоторые важнейшие аспекты национальной и религиозно-конфессиональной, а также социальной истории русин. Учитывая, что языково-культурных памятников не так много, венгерские слависты часто прибегают к реконструкции языка подкарпатских русин того или иного исторического этапа развития на основании самых различных, сохранившихся в венгерских архивах исторических документов, выявляя как общие характерные черты, так и особенности русинского языка.

Комплексное изучение письменности, исторического развития грамматики и лексикологии, а также истории литературного языка подкарпатских русин начал еще в 1950-е годы известный венгерский филолог-славист Л. Дежё. В 80-е годы прошлого века им было завершено исследование под названием “Деловая письменность русинов в XVII–XVIII веках. Словарь, анализ, тексты” [7], которое с предисловием И. Удвари было опубликовано в 1996 г. на русском языке именно в Ниредьхазе в качестве 4-го тома серии “*Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia*”. Автор не только составил богатый словарь русинского языка и словарь венгерских заимствований в этом языке, но по текстам урбариальных записей времен правления австрийской императрицы и венгерской королевы Марии Терезии (1717–1780), которые подверг серьезному анализу как языковые памятники подкарпатской русинской письменности. При этом он представил также краткий обзор религиозно-конфессиональной истории русинской церкви и культуры, проследил пути развития как церковного, так и светского народного языка.

Автор с полным правом подчеркивает, ссылаясь на результаты своих прежних исследований, что формирование языковой среды подкарпатских русин нельзя понять без истории миграции, без процесса заселения опустошенных после монголо-татарского нашествия территорий. Начиная свой анализ с вопросов языка, он переходит к характеристике социальной среды, в которой жили русины и вновь прибывшие переселенцы. “Суть этого процесса в том, – пишет Дежё, – что крепостник-помещик или управляющий латифундией поручал крестьянину-старосте (кенецу) или нескольким крестьянам заселить село, предоставляя им за это определенные привилегии. Они вербовали крестьян, живущих с той (восточной. – *Авт.*) или реже с этой (западной) стороны Карпат. Переселенцы на 10–11 лет освобождались от уплаты налогов”. Сначала на заселенных территориях говорили на нескольких наречиях, и это находит отражение в памятниках, подчеркивает Дежё. Но затем, “за сравнительно короткое время язык переселенцев становился доминирующим, так как семья кенеца ассимилировалась в языковом отношении. В новой среде переселенцы заимствовали немало венгерских элементов... Когда ходили на барщину в южную часть латифундий, они заимствовали и другие элементы, потому что работали вместе с русинами (ранее поселившимися. – *Авт.*) и венграми, живущими южнее. Так венгерские элементы (языка – *Авт.*) распространялись по всей карпатско-русинской территории” [7. С. 189].

В XVII в. на территории исторической Венгрии королевская (габсбургская) власть сохранялась лишь на не захваченных турками западных и северных землях. Часть подкарпатского русинского населения северо-восточных комитатов Шарош и Земплен (ныне в Словакии), Унг и отчасти Берег (ныне в Закарпатье, Украина) оставалась под королевской властью. Другая, южная часть – жители комитата Марамарош (на юго-востоке нынешнего Закарпатья и примыкающей к нему северо-восточной Трансильвании), – проживала во



владениях трансильванских князей рода Ракоци. Автор считает важным отметить, что основная территория обитания подкарпатских русин – Мукачевская латифундия (комитат Берег) – также находилась именно во владении семьи Ракоци и что на этой, “свободной от турок части Венгрии проходила борьба между католиками и протестантами, которая особенно обострилась во время контрреформации в первой половине XVII века” [7. С. 191]. При этом Дежё подчеркивает, что эти межконфессиональные столкновения не касались русинского населения. Он исходит из того, что экспансия турок, направленная на Запад, не затрагивала русин, а “короли Габсбурги были заняты контрреформацией” и поэтому имперская католическая власть лишь после ее победы занялась католизацией русин. Это, несомненно, так, однако последствия религиозных войн так или иначе сказались и на религиозной жизни русин. Религиозные войны инициировались, как известно, именно с целью утверждения католицизма над такими протестантско-реформаторскими течениями христианства, как лютеранство и кальвинизм, получившими широкое распространение в северо-восточных и юго-восточных регионах исторической Венгрии, включая Трансильванию. Следует учитывать также, что в 1703–1711 гг. освободительная война венгров против габсбургского владычества началась именно в восточных регионах страны, в трансильванских владениях Ференца II Ракоци. Поражение же этой борьбы оказало влияние на поддержавших ее подкарпатских русин.

Деже не без основания обращает внимание на вопросы церковной унии, имеющей непосредственное отношение к русинам. Часто действие Брестской унии 1596 г. ошибочно распространяют на подкарпатских русин Венгрии. Но их православная церковная организация объединилась с католической церковью лишь по Ужгородской унии в 1646 г. Для более подробного ознакомления с проблемой Деже отсылает читателя к монографии И. Удвари “Русины в XVIII веке” [8], однако и сам приводит краткую историческую справку. Учитывая, что эти материалы помогают ориентироваться и в последующих проблемах истории русинской церкви и культуры, приведем из них выдержку принципиального значения. “Ранняя история Мукачевской (в документах и изданиях того времени – Мункачевской. – *Авт.*) епархии не очень известна, – пишет венгерский славист. – Достоверно известно, что Грушевский монастырь в Марамароше в 1390 г. получил каноническую самостоятельность, подчинялся непосредственно константинопольскому патриарху, и его юрисдикция распространялась на территории до реки Уж. После падения Византии, то есть с середины XV века эта зависимость (от патриарха. – *Авт.*) становилась все более формальной. Статус Мукачевской епархии во второй половине столетия был очень спорным. Ее власть над русинскими верующими укрепилась только во второй половине XVI века... В первой половине XVII века мукачевский епископ властвовал и над марамарошскими русинами, но только до Ужгородской унии. В 1646 г. унию признали только священники западных (по отношению к мукачевской епархии. – *Авт.*) комитатов: Шароша, Земплена и Унга, ибо в западном Закарпатье были такие латифундии, владельцы которых являлись подданными Габсбургов. На этой территории в своеобразном виде существовал принцип: *cuius regio eius religio*” [7. С. 191–192].

Последующий этап религиозной истории подкарпатских русин не менее интересен и нуждается в кратком представлении, поскольку затрагивает важные моменты становления и развития их духовной культуры. Во главе

мукачевского религиозного центра с 1648 г. встал униат Петр Партений (Petrus Parthenius). “В это время в Марамароше была образована новая – православная – епархия, которая прекратила свое существование после поражения освободительной войны под руководством Ференца II Ракоци. В комитате Берег и в Мукачевском епископстве судьба унии зависела от государственной и местной власти и от политической обстановки”, – писал Дежё [7. С. 192]. Далее, ссылаясь на монографию видного русинского ученого, историка и лингвиста, академика А. Годинки, досконально исследовавшего историю Мукачевского греко-католического епископства, согласно которой “до 1689 г., в отсутствии епископов, назначенных королем, русинами управляли православные епископы, введенные семьей Ракоци” [5. С. 378], Дежё подчеркивает, что это имело место лишь в той мере, в которой семья Ракоци могла осуществлять свою власть. “Иезуиты и часть униатских священников делали все для распространения унии”, – отмечает Деже [7. С. 192]. В 1689 г. венский двор превратил Мукачевское епископство в викариат эгерского греко-католического епископства. Австрийские Габсбурги окончательно утвердили свою власть над всей территорией исторической Венгрии, включая Трансильванию, во второй четверти XVIII в. Тогда же была восстановлена каноническая самостоятельность Мукачевской епархии. Произошло это после того, как пост мукачевского епископа в 1733 г. занял местный священник Михаил Ольшавский (1733–1767 гг.). Под его началом епархия пережила новый расцвет – была создана духовная семинария, и достроен монастырь в Марияпоче. “Независимая церковь была нужна потому, что она являлась единственным учреждением русинов, способным в то время обеспечить развитие просвещения”, – писал Дежё [7. С. 192].

Вслед за Годинкой он подтверждает, что до 1595 г. мукачевские владыки большей частью были из Речи Посполитой, а литургические книги поступали к ним с востока. Когда же с восточной стороны Карпат окрепла уния, то среди русинских священников вырос престиж русских православных печатных изданий. “По нашему мнению, этот значительный фактор способствовал тому, что в мукачевской епархии официальным языком в конце XVIII века стал славяно-русский язык, а позже русский”, – писал Дежё [7. С. 193–194]. Известный венгерский лингвист наряду с характеристикой языка церковных обрядов обращает внимание и на различия в повседневной речи русин по восточной и западной стороне Карпат – соответственно Прикарпатье и Подкарпатье. Он подчеркивает, что если в Польше и Литве в деловой сфере наряду с латинским использовался “западно-русский” язык, в котором, по его мнению, до конца XVI в. преобладали белорусские черты, то в Венгрии официальным был латинский язык, а администрация комитатов пользовалась также и венгерским языком. В то же время он указывает на сплывающую роль церкви, отмечая, что дворян-русин в комитате Марамарош, также как румын в Трансильвании, объединяла именно религия.

Как у каждого народа, у подкарпатских русин религия и язык несомненно являлись объединяющим фактором. Русинский язык, несмотря на отгороженность этого народа от других восточных славян карпатскими горами, также развивался и, как вытекает из лингвистических исследований, пополнялся новыми элементами в результате языкового влияния той среды, в которой этот народ веками проживал, равно как и переселенцев с востока. И это, видимо, происходило независимо от литургического языка, который долгое время продолжал оставаться довольно архаичным. Греко-католическая религия в

жизни подкарпатских русин играла несомненно сплывающую роль. Однако следует отметить, что данная религиозная конфессия объединяла не только русин, но и часть венгерского и словацкого населения тогдашней Верхней Венгрии и северо-восточного Подкарпатья, а также румын Трансильвании.

Исследователь обращает внимание и на то, что в 1760–1780 гг. центральное венское правительство стало уделять все больше внимания идеям европейского Просвещения, что оказало весьма благоприятное влияние на культурную жизнь также и русин Венгрии. Это обстоятельство и подтолкнуло ученого, как и его коллег из НВШ, к тому, чтобы большинство своих лингвистических исследований по становлению и развитию русинского языка и процессов культурного возрождения подкарпатских русин строить именно на исторических документах XVI–XVIII вв., как ценнейших языковых памятниках русинской письменности. Эти источники в равной степени привлекают внимание как историков, так и лингвистов. Среди документов эпохи, служивших базой для лингвистического исследования ученого, особое место занимают урбарильные записи 1771–1774 гг. Урбарильный патент Марии-Терезии от 23 января 1767 г., принятый с целью урегулирования крепостных повинностей, устанавливал единую систему отношений между помещиком и крестьянином во избежание крестьянских восстаний, предусматривал ограничение власти помещика. В порядке выполнения указа подкарпатские села посетили королевские комиссары, которые, в присутствии старосты села, присяжных и стариков задавали крестьянам по девять вопросов о наделах и повинностях, об их хозяйственном положении и т.п. Причем данные под присягой ответы записывались и зачитывались на языке местных жителей, которые затем ставили свои подписи.

Дежé изучил и проанализировал эти записи, найденные им в госархиве Венгрии, обоснованно считая их памятниками, отражающими как языковые особенности населения края, так и положение крестьян – подкарпатских русин. На основании этих документальных материалов исследователь составил словарь русинской деловой письменности. В комитате Марамарош (часть которого ныне относится к Закарпатской обл. Украины, а другая – к Румынии) ответы русинских крестьян в семи горных селах были записаны на русинском языке латиницей, а в семи – кириллицей; в комитате Берег записи делались латиницей, в остальных комитатах Подкарпатья – на венгерском языке. В комитате Унг в то время кириллицей не пользовались, в Земплене же записи делались на словацком языке, констатирует ученый.

Книга Л. Дежé содержит также описание памятников письменности с детальным фонетическим анализом текстов и языковых заимствований. Вопросы королевских комиссаров и ответы крестьян 13 русинских сел автор приводит в книге в качестве приложения.

Среди работ ученых Ниредьхазы, посвященных истории культуры эпохи Просвещения, становлению и развитию национальных культур народов Венгерского королевства, включая подкарпатских русин, особого внимания заслуживает объемный фундаментальный труд известного слависта П. Кирая “Формирование правописания и литературных языков народов Восточно-Центральной Европы” [9]. Автор исследует проблему прежде всего на базе изданий Королевской Университетской типографии в Буде в 1777–1848 гг. В монографии анализируются деятельность типографии и ее вклад в становление и развитие венгерской, немецкой, словацкой, чешской, хорватской, словенской, сербской, русинской, русской, болгарской, македонской, румынской, гречес-

кой, еврейской языковых культур и литературных устремлений соответствующих народов. По сути это комплексный научный труд по истории национальных культур. В нем описывается история книгоиздания, оцениваются книги, изданные на разных языках данной типографией.

В конце XVIII – первой половине XIX в. во всей Европе не было подобной типографии, которая столь успешно распространяла бы идеи Просвещения и национального пробуждения среди самого широкого круга народов Европы. Она выпустила более 5500 наименований книг, в том числе 1723 на латинском, 1379 на венгерском, 924 на немецком, 229 на словацком, 41 на русинском, 278 на румынском, 23 на болгарском, 672 на сербском, 127 на хорватском языках, 72 на идиш и древнееврейском, 30 на греческом, итальянском, французском и прочих языках.

Императрица Мария-Терезия и венский двор понимали значимость идей Просвещения, следствием чего стало усиление роли государства в сфере образования. В 1777 г. указом Марии-Терезии, известным как “Ratio Educationis”, была начата реформа всей системы образования. Школьное образование фактически было изъято из ведения церкви и поставлено под контроль государства. Одним из положений “Ratio” явилось обеспечение возможности получения начального образования на родном языке. В результате реорганизации университета в Надьсомбате (ныне Трнава в Словакии. – *Авт.*) его типография в 1777 г. переместилась в Буду, а сам университет – в Пешт.

Отдельным указом королевы от 5 июля 1777 г. предусматривалось издание учебников и книг не только на венгерском и немецком, но и на языках других национальностей страны, а реализация задачи поручалась Университетской типографии в Буде. Все эти общие положения, естественно, распространялись и на русин Венгрии.

Автор монографии подчеркивает, что наиболее полные и достоверные сведения о русинах Венгрии второй половины XVIII в. дают материалы переписи населения 1773 г., в которых зафиксированы ответы о религиозной принадлежности, уровне образования и родном языке. Согласно этим данным, в Венгрии насчитывалось 704 населенных пункта, в которых жители говорили на рутенском (русинском) языке и принадлежали к униатам греческого обряда. В русинских начальных школах насчитывалось 360 учителей. О духовной жизни русин начиная с 1750 г. сохранились материалы специальных церковных комиссий, которые посещали приходы и школы – так называемые “Визиты” (“*Visitatio saponica*”). В них фиксировались такие сведения, как язык церковной службы, наличие литургических книг, численность школ и учеников, учебные предметы и пр. Судя по проведенному П. Кирайем анализу этих материалов, церковные службы велись в основном на церковнославянском языке (*lingva vetero slavica*, *lingva slavo ruthenica*, *ruthenica*, *lingva ecclesiastica*), в школах же обучение велось на венгерском и русинском. В отношении церковных книг, используемых русинскими священниками, он отмечает, что это были либо издания Киево-печерской лавры, либо напечатанные в Галиции (Почаевском монастыре, Львове или Перемышле), реже – в Москве, Вене, Надьсомбате или Буде. Хотя эти последние сведения базируются на анализе материалов проверки всего лишь ряда русинских сел северо-востока Венгрии, по мнению автора, они отражают общую ситуацию в районах с русинским населением. Приведенные им материалы об инспекциях в 1806–1808 гг. 300 русинских сел свидетельствуют о том, что школьные учителя были образован-

ными и говорили на четырех языках – на рутено-русском, венгерском, латинском и немецком [9. 335–336.old.]. Характерно, что в учительской семинарии в г. Унгваре (ныне Ужгород. – *Авт.*) наряду с русинским языком преподавали также венгерский, немецкий и русский. Кирай приходит к выводу, что использование языков вовсе не регламентировалось, что не только в церковной жизни, но и в изданиях религиозного характера и в сфере письменности русины свободно пользовались церковнославянским.

Для русин в Венгрии первые церковные книги кириллицей, как предполагают отдельные авторы, – а это допускает и Кирай, – были напечатаны в Грушеве (комитат Марамарош) в самом начале XVI в. благодаря деятельности печатника из Кракова [9. 337.old.]. Видимо, он имеет в виду польского первопечатника Ш. Фиоля, который по легенде нашел убежище в этих краях, и опять-таки предположительно, в промежутке между 1640–1680 гг. напечатал там и первый “Букварь” кириллицей. Однако явных документальных доказательств существования типографии в Грушеве, как справедливо указывается в “Энциклопедии Подкарпатской Руси”, не существует [10. С. 147]. Что же касается Грушевского монастыря, то имеющиеся в литературе сведения относительно его основания весьма противоречивы. Одни авторы первое упоминание о нем относят к 1307 г., другие связывают с татаро-монгольским нашествием, после которого настоятель монастыря сообщал венгерскому королю Беле IV (1235–1270) о сожжении села монголо-татарами (оно, как полагают, находилось вблизи нынешнего г. Тячева в Закарпатье. – *Авт.*), третьи относят его основание к первой половине XIV в. [11. С. 590–591; 10. С. 147]. Монастырь в конфессиональном и церковно-иерархическом отношении несомненно принадлежал к восточной ветви христианства. Первое достоверное письменное свидетельство о нем относится к 1391 г., когда константинопольский патриарх Антоний IV своей грамотой предоставил монастырю “ставропигийское право” на независимость от местных властей и на сбор податей, как отмечается в одном из украинских изданий, от “русинов” и “влахов” Марамароша, Угочи и Трансильвании [11. С. 590]. Разбогатевший религиозный центр после падения Византии постепенно и сам пришел в упадок. В ходе религиозных войн XVII в., предположительно в 1660–1670 гг., Грушевский монастырь сгорел дотла [7. С. 196].

Впоследствии церковные книги кириллицей для подкарпатских русин печатались в типографии Надьсомбатского университета, основанного в 1635 г. примасом венгерской католической церкви Петером Пазманем (1570–1637), утверждавшим в стране власть католической церкви в борьбе с влиянием протестантизма и русской православной церкви. Университет и его типография находились в руках иезуитов вплоть до ликвидации ордена в 1773 г. [9. 337.old.]. В 1672 г. перемышльский епископ Я. Малаховский жаловался императору Леопольду на то, что русины со времен заключения унии в 1646 г. черпают ядовитые “еретические идеи” (православные. – *Авт.*) из чужих изданий и утверждал, что ситуацию можно исправить лишь основанием собственной славянской типографии. Однако инициатива Малаховского не получила высочайшего одобрения. Ситуация изменилась лишь после того, как Йосиф Де Камелис, грек по происхождению, на протяжении 16 лет занимавший пост мукачевского епископа, обратился к председателю венгерской королевской палаты архиепископу Л. Коллоничу с просьбой предоставить напечатанные кириллицей книги. Коллонич распорядился, чтобы университетская типография в Надьсомбате по-

лучила набор шрифтов кириллицы [9. 338.old.]. Так были изданы написанные Де Камелисом “Катехизис для науки угро-русским людям” и “Букварь” (1699), в котором наряду с церковнославянскими употреблялось и немало русинских выражений. Там же вплоть до 1777 г. печатались книги и на языке, все более приближенном к народному русинскому. Среди них были и переводы с латыни на русинский язык, осуществленные священниками из Перемышля, содержащие немало полонизмов.

Поскольку изданных в Венгрии церковных книг и учебников было мало, греко-католические священники стремились восполнить их нехватку за счет печатных изданий из Галиции и России. Кирай в этой связи приводит такие факты: в 1756 г. книготорговцы с востока просили разрешение на ввоз книг через Ужокский перевал, в 1759 г. из Москвы было ввезено 9 повозок книг, в 1760 г. ввезли 690 книг ( в т.ч. 150 букварей), в 1762 г. – 773 ( в т.ч. 400 букварей) [9. 343.old.]. Распространение русских православных книг среди русинских священников в Подкарпатье, как подчеркивает Л. Дежё, стало фактором, способствующим тому, что “в мукачевской епархии официальным языком в конце XVIII в. стал славяно-русский, а позже русский язык” [7. С. 194].

Мария-Терезия стремилась упорядочить ситуацию с использованием языков для всех религиозных конфессий и систем школьного образования, включая и греко-католическую церковь и русинские школы, что по сути предусматривало издание книг на всех языках народов, населявших королевство. Для этого она в 1773 г. создала комиссию из епископов, которая пришла к выводу о необходимости собственного книгоиздания на “славяно-русском литературном языке, а также на валашском” (румынском), притом кириллицей [9. 341.old.]. Учитывая, что в церковных книгах, изданных в Польше на “славяно-русском”, использовался язык с примесью народных наречий, комиссия в интересах соблюдения правил правописания распорядилась при печатании литургических книг придерживаться орфографии и грамматики киевских изданий. В то же время в отношении Библии, катехизисов, энциклопедий, грамматик и других изданий было дано указание печатать их исключительно на понятных народу языках. Мария-Терезия, как подчеркивает Кирай, заняла свою позицию в спорном среди епископов вопросе о толковании понятия “русский-российский” (*Russica-Rosziskii*), отметив, что под этим термином следует понимать “не московский, а русинский язык”, мотивируя это тем, что на русинском слово “московит” означает не “русский”, а “москаль”. (“*In reliquo autem ly (lingua) Russica-Rosziskii non ad Moskovitas, sed ad Ruthenos referri, omni, qui linguam Ruthenicam callet, notissimum esse: Moscovita enim ruthenice non Roszii, sed Moszkaly nominatur*” [9. 343.old.].

Типографский набор кириллицы из Надьсомбата был перевезен в трансильванский город Коложвар (ныне Клуж в Румынии. – Авт.), где в 1746 г. в типографии иезуитов была опубликована книга мукачевского и марамарошского православного епископа М. Ольшавского на двух языках – на латинском и церковнославянском под названием “*Elementa puerilis institutionis in lingua latina...*” (“Начало письмен детям к наставлению на латинском языке...”), а затем в 1754 и 1755 гг. его же работа “Венгро-русский букварь” и “Венгро-русский катехизис” [9. 340.old.]. Публикация двуязычных учебников, по мнению венгерских славистов, имела большое значение для приобщения русин к европейскому образованию со школьной скамьи. В учебнике текст, набранный кириллицей, был продублирован латинским по принципу строчка на ла-

тыни, строчка – церковнославянскими буквами. Он был полностью заимствован Ольшавским с московского оригинала, изданного 1739 г., что позволяет констатировать факт языково-культурного влияния [1. 56.old.].

Со времени Марии-Терезии официальные власти Венгрии придавали большое значение воспитанию полезных для государства и общества граждан и проявляли заботу о распространении грамотности среди подданных. Наместнический Совет был крайне заинтересован в издании школьных учебников на языках народов Венгрии, в том числе и на русинском, сербском, румынском. Однако Университетская типография в Буде не располагала шрифтами кириллицы. Ситуация изменилась после того, как в 1787 г. были приобретены первые матрицы с кириллицей, а в 1795 г. по указу императора выкуплены у венского печатника С. Новаковича за 45000 фт. набор кириллических шрифтов и привилегия на печатание изданий этими литерами.

Неудивительно, что первым изданием для русин, увидевшим свет в Университетской типографии в Буде, стал “Букварь языка рускаго” (1797) со следующими разделами: печатные, гражданские, рукописные буквы, названия букв, титло, молитвы, “науки светские”, просодия, числа, таблица умножения. При этом из 56 страниц букваря 45 занимали религиозные тексты, 4 – таблица умножения, 1 – просодия, светские же знания излагались на 7 страницах. Сравнивая “Букварь” с изданиями Университетской типографии на других языках, Кирай находит много совпадений с изданным в том же году сербским букварем и приходит к выводу, что русинский букварь имел какое-то отношение к сербским изданиям типографии, которые, возможно, послужили образцом для русинского букваря. Язык русинского издания – церковнославянский с примесью восточнославянских (русских, украинских) элементов, однако в текстах светского характера встречаются и восточно-словацкие. Наиболее близки народному языку были именно набранные гражданским шрифтом тексты светского и воспитательного характера. Это печатное издание пользовалось большим спросом, что подтверждает и тот факт, что в 1807 г. мукачевский епископ А. Бачинский запрашивал у типографии 1500 экз. букваря. За 1797–1850 гг. “Букварь” неоднократно переиздавался, однако, по мнению автора монографии, это имело и некоторые негативные последствия для формирования литературного языка, так как тем самым консервировались старые нормы правописания, что препятствовало развитию языка [9. 344–346.old.].

Среди изданий Университетской типографии следует отметить такие книги, как “Катехизис” (1801), который использовался в школах вплоть до конца XIX в., полное издание Библии в пяти томах (1804), “Требник” (1821), “Молитвослов” (1823), “Служебник” (1835). Богослужебные и прочие церковные книги печатались, естественно, на церковнославянском, и при их издании следовали традиционным правилам орфографии.

Первым из русин Венгрии, кто обратился к народному языку, был просветитель, языковед Михаил Лучкай (Лучкай, Lutskey) (1789–1843). Родился он в с. Надьлучка (комитат Берег) в семье учителя пения греко-католической церковной школы по фамилии Папп (Поп). Впоследствии поменял фамилию по названию родного села. Учился в Вене, в 1816 г. был капелланом в родном селе, в 1817 г. стал библиотекарем и архивариусом епархиальной канцелярии, с 1818 г. – секретарь епископа. В 1827 г. по приглашению князя Карла Бурбона переехал в итальянскую Лукку и стал придворным капелланом для русскоязычных переселенцев-униатов. В 1831 г. вернулся в Унгвар (ныне Ужгород), Укра-

ина, где служил сначала приходским священником, а затем протоиереем. В 1830 г. в Лукке закончил написание своей “Грамматики” (“Grammatica Slavico-Ruthena”), в том же году напечатанной в Университетской типографии. В своей работе Лучкай параллельно старославянской грамматике представляет и строй русинского разговорного языка. Проводя сравнение между церковнославянским языком русской редакции и диалектом разговорного языка своих родных мест, он указывает на расхождения в русинском (Ruthenica, aut Carpatho-guscae, Parvo-Russica), старославянском (in Stylo Biblica, Vetero-Slavica) и церковнославянском (Slavica) языках [9. 358.old.]. В заключительном разделе книги Лучкай приводит русинские народные сказки, песни, пословицы и поговорки. Автор “Грамматики” обращает внимание читателя на отличия языка людей “образованных” и “менее образованных”. В предисловии он указывает на то, что ни у одного культурного народа – ни у русских, ни у французов, итальянцев или немцев – разговорный народный язык, его диалекты не идентичны языку образованных слоев. Лишь славяне (Slavi) стремятся приблизить литературный язык к разговорному, чтобы он стал понятнее народу и легче усваивался [9. 358.old.].

В области орфографии Лучкай предлагает отказаться от “ъ” в конце слов, поскольку этот знак не обозначает никакого звука, тем самым сделав первый шаг в сторону реформы правописания. Благодаря своей шеститомной “Истории карпато-русинов” он сыграл заметную роль в развитии национального самосознания русин. По Лучкай, карпато-русинопольские земли являются особой территорией, древний, автохтонный народ которой проживал в этих краях еще до прихода мадьяр, а язык его отличается как от русского, так и от польского, и от чешского. По мнению Кирая, это дает право считать Лучкай предтечей русинской, или карпато-русской, национальной идеи [9. 360.old.].

Напечатанные будайской Университетской типографией книги не только удовлетворяли потребности в печатных изданиях русин Венгрии, но распространялись далеко за ее пределами. Особенно плодотворные связи сложились с испытывавшей нехватку церковных книг и учебников Галицией: Университетская типография печатала издания для тамошних греко-католиков, а также закупала в Галиции книги для своих нужд. В этом отношении автор монографии обращает внимание на тот примечательный факт, что в 1831 г. власти Галиции обратились с письмом к Наместническому совету Венгрии и просили подыскать для них подходящие православные церковные издания, так как в имеющихся у них богослужебных книгах, отпечатанных в Киеве, русский царь упоминался как глава церкви, а им же требовались книги с молитвой во спасение австрийского императора. В ответ были высланы два каталога Университетской типографии с перечнем ее православных изданий [9. 363.old.].

В 40–50-е годы XIX в. в Буде было издано несколько работ видного русинского просветителя, будителя “карпато-русского народа”, священника А.В. Духновича (1803–1865) – “Книжица читальная для начинающих” (1847), сборник молитв и духовных песен “Хлеб души” (1847), “Катехизис” (1851), “Сокращенная грамматика письменного русского языка” (1853). Большинство из них было напечатано в Университетской типографии и впоследствии неоднократно переиздавалось. “Грамматика” Духновича примечательна тем, что в ней автор указывает на конкретные различия церковнославянского и “карпато-русского” языков. Язык же книги для чтения – смесь церковнославянского русской редакции и местных говоров. Так как Духнович был уроженцем с. Тополя



(комитат Земплен, ныне в Словакии), то его славено-русский язык содержал в себе немало западно-украинских лексических элементов, употреблявшихся лемками, а также слова, характерные для восточно-словацких диалектов. Большую часть книги составляют воспитательного характера наставления учащейся молодежи, изложенные в стихотворной форме, из которых, пожалуй, следует особо отметить стихотворение “Жизнь Русина”, свидетельствующее о формировании русинского национального самосознания. В этом, прославляющем свой народ произведении автор представляет читателю русин как богобоязненный, неприхотливый, чистый душою, уважающий старших простой народ [9. 368.old.].

Кирай подчеркивает, что анализ изданий Университетской типографии в Буде подтверждает, что к 1848 г. еще не сложилось единого общепринятого названия для русинского народа и русинского языка. Тем не менее в печатных изданиях находит отражение процесс роста национального самосознания русин, в языковом отношении выражавшийся в попытках отойти от церковнославянского языка и приблизиться к народному разговорному, началось осознание потребности в кодифицированном литературном языке [9. 370.old.].

В научно-исследовательской деятельности кафедры украинистики и русинистики НВШ, судя по опубликованным ее сотрудниками материалам, важное место занимают выявление, системная обработка, изучение и публикация текстов исторических документов XVIII в. Слависты Ниредьхазы встретили уникальный документ, свидетельствующий о причастности представителей русинского народа к развитию латиноязычной культуры. Это – литературное произведение, посвященное императору Иосифу II (1741–1790), найденное славистом И. Яношем среди архивных материалов Венгрии XVIII в. Ученый опубликовал свою находку вместе с другими документами и литературоведческим анализом отдельной книгой под названием “Русинский панегирик Иосифа II на латинском языке” [12].

Автором этого редкого художественного произведения подкарпатской русинской культуры является подкарпатский русин А. Илкович (Alexias Ilkovits), воспевший своего короля-императора, но вместе с тем и жаловавшийся ему на тяжелую судьбу своего народа. Он, будучи служителем греко-католической церкви, верноподданным короля, как выяснилось, считался также и выдающимся поэтом своего времени, писавшим на латыни. Илкович прилагал немало усилий для создания не только церковных текстов, но и светских литературных произведений. Родился он в начале 30-х годов XVIII в. в с. Матисова (комитат Шарош). Обучался в Надьсомбате, в 1766 г. принял сан священника, в 1770–1776 гг. служил секретарем у епископа, а с 1773 г. до своей кончины 8 апреля 1779 г. в Мункаче был архидиаконом комитата Берег, в 1776–1779 гг. – еще и каноником.

Находка венгерского слависта И. Яноша, перевод рукописи на венгерский и издание произведения Илковича на двух языках по праву считается важным событием венгерской русинистики, равно как и научным достижением в исследовании подкарпато-русинской неолатинской литературы. Сам Янош в своем историко-литературоведческом анализе признает, что среди панегириков “редко встречаются подлинные поэтические ценности”, но в данном случае обращает внимание на то, что в Венгрии 70–80-х годов XVIII в. уже создавались и такого рода литературные произведения на латыни и на венгерском языке, авторы которых восхваляли не сословные дворянские ценности, а дея-

тельность, направленную на общее благо – решение проблем экономики, торговли, дорожного строительства и пр., дальнейшее развитие которых ожидали именно от реформ императора. При этом Янош подчеркивает, что литературное творение Илковича “*Josepho secundo augustissimo Imperatori ita Ruthena Parnassus cecinit*” (“Так Парнас воспел жалобы русин августейшему императору Иосифу II”) [12. 23–44.old.] относится именно к такого рода произведениям.

Произведение Илковича было приурочено к приезду в Подкарпатский край в июне 1770 г. короля-императора Иосифа II. В лирике русинского поэта использованы приемы и мотивы, весьма характерные для изображения коронованных особ эпохи Просвещения – символика света. В ней оживает природа Карпат, которую озаряет свет, излучаемый величественной особой короля-императора из австрийского дома. Поэт обращается к нему от имени русинского народа и воспеваает его, прибывшего в благодатный подкарпатский край. В то же время он не упускает возможности рассказать о том, что “народ русинский смел в бою”, сам “никогда не бунтовал против Венгрии и ее короля”, “часто одолевал бунтовщиков”, “защищал короля и родину”, но тем не менее остается народом бедным. Повествуя о тяжелой доле русинского народа и русинских священников, Илкович высказывает идею, что если они не получают помощи от монарха, то не смогут преодолеть своей отсталости. По версии поэта, его народ “малообразован, неотесан, но не имеет злых намерений”, и “не его вина, что не смог выбраться из отсталости”, ведь он “старательный, и если получит поддержку, способен подняться”. Поэт считает просвещенного монарха с его цивилизаторскими намерениями гарантом материального и духовного процветания народа.

В рамках классического для своего времени жанра Илкович, таким образом, с убедительной достоверностью отразил особые условия жизни своего народа, церкви и выразил веру в его культурное возвышение. В панегирике есть строки, обращенные к памяти “князя Рутен”, к Корятовичу, “дух которого здесь жив и поныне” [9. 27.old.]. В этих строках венгерский исследователь И. Янош видит проявление зачатков национального самосознания русин Венгрии. Панегирик завершается воспеванием императора, подчеркивается, что “поэты и русинская лира подготовили ему песнь” и увековечат память о его пребывании в крае, но по причине отсутствия собственных букв и средств для печати сделают это посредством зарубок на коре стволов карпатских дубов. Ниредьхазский славист-литературовед отмечает, что русины Подкарпатья имели основание и причину радоваться приезду императора, заявлять о своей верности и преданности, ибо Мария-Терезия уже позаботилась и ходатайствовала перед папой римским об основании греко-католического епископата для подкарпатских русин, после чего Клементий XIV своей буллой 19 ноября 1771 г. объявил об образовании этой епархии, первым епископом которой стал Я. Брадач.

Среди выявленных и опубликованных славистами НВШ документов прошлых веков – памятников письменности на языках славянских народов исторической Венгрии, есть и другие, связанные с языковой, социальной и культурной историей подкарпатских русин, архивные материалы XVIII в. Их выявление и издание позволило русинистам Ниредьхазы не только восстановить эти казалось бы утерянные культурно-исторические ценности, но и изучить особенности становления и исторического развития русинского языка, литературы и национальной культуры вообще. Обращение исследователей к до-

кументам второй половины XVIII ст. вполне понятно, ведь это был период, когда в условиях господства латинского языка и письменности начала пробивать себе дорогу, пусть даже в зачаточном виде, национальная письменность.

Среди исследователей-славистов НВШ И. Удвари выделяется не только своими организаторскими способностями. Он написал не только многочисленные предисловия и вводные статьи почти к каждой книге, изданной кафедрой, и монографию по истории подкарпатских русин [8], но и ряд научных трудов, связанных с изучением, описанием и анализом документальной базы таких важных языковых (в том числе русиноязычных) памятников славянских народов Венгрии, как урбариальные записи периода реформ Марии-Терезии [13]. Эти исторические документы дают обильный материал и для лингвистического анализа русинского языка XVIII в.

Заслуга ученых НВШ в издании урбариальных записей несомненна, она состоит не только в публикации ценных языковых источников факсимильным способом, отражающих конкретную языковую среду, в лингвистическом анализе этих текстов, но и в отражении социально-экономических проблем жизни и деятельности подкарпатских русин того времени, т.е. одновременно являются историческими источниками. В книге приводятся и тексты записей русинского урбария, даны сведения об истории создания этих документов, подчеркнута их роль как памятников русинской письменности и культуры. Патент императрицы от 26 апреля 1766 г. предписывал доводить до сведения каждого подданного налоговые обязательства на национальных языках. Это, в свою очередь, давало возможность делать записи на местных языках, которые и стали для ряда народов первыми памятниками их письменности. Такая практика вольно или невольно давала возможность для официального утверждения национальных языков в условиях просвещенного абсолютизма.

Собранные и опубликованные в Ниредьхазе документы И. Удвари анализирует именно с позиции языковеда. Подготовленное им издание осуществлено на литературном русинском языке, что само по себе представляет научный интерес для лингвистов, изучающих историю становления русинского литературного языка. Книга была выпущена к Всемирному конгрессу русин, который прошел летом 1999 г. в Ужгороде. Необходимо отметить, что подобного рода социолингвистические исследования на базе урбариальных записей были осуществлены ученым применительно и к другим славянским народам Венгрии.

Не менее ценным историко-лингвистическим исследованием, а вместе с тем и публикацией документов по истории подкарпато-русинской культуры, является другая книга автора, посвященная деятельности русинского просветителя эпохи Просвещения Андрея Бачинского, его циркулярам, написанным кириллицей. Книга И. Удвари “Кириллические циркуляры мукачевского епископа Андрея Бачинского” [14] обращена к весьма интересной, в определенной мере даже ключевой, проблематике истории – истории культуры и языка подкарпатских русин второй половины XVIII–XIX вв. Дело в том, что это не просто сборник оригинальных документов русинской письменности кириллицей, но и авторское исследование текста циркуляров, которые касаются широкого круга проблем русинской истории и культуры, т. е. выходит далеко за пределы лингвистического исследования. Это книга об истории развития и обогащения русинского литературного языка, о влиянии на его формирование базовых церковных материалов.

Идеи Просвещения, естественно, затронули русинскую культуру и интеллигенцию, состоявшую прежде всего из представителей духовенства. Высшие иерархи русинского греко-католического духовенства часто бывали в столице империи Вене, где приобщались к идеям Просвещения, которые затем через циркуляры епископа передавались другим слоям духовенства, стоявшим на низших ступенях иерархии, а через них становились достоянием и широких слоев русинского населения Венгрии.

Андрей Бачинский (1732–1809) являлся выдающимся представителем русинского просвещения. Он оказал решающее влияние на жизнь, развитие языка и литературы, духовной культуры подкарпатских русин вообще. Книга И. Удвари, содержащая исследование жизни и деятельности этого просветителя, тексты епископских циркуляров, служит ярким тому подтверждением. Примечательно, что все содержание книги, – включая авторский анализ циркуляров и роли епископа в развитии русинской культуры и просвещения, его вклада в дело народного образования, – представлено в книге на литературном русинском языке. Богатое содержание и данная особенность книги Удвари (что вместе с тем является и ее существенным достоинством) дает возможность исследователям, занимающимся проблематикой подкарпатских русин, ближе и глубже ознакомиться как с историей народа, так и с русинским языком. Циркуляры епископа Бачинского, разосланные в свое время по различным инстанциям и приходам, по праву считаются ценнейшим памятником русинской письменности.

Епископ А. Бачинский, назначенный на этот пост в 1772 г., развернул широкую и активную просветительскую деятельность. По определению венгерских славистов, его циркуляры стали фактором культурной жизни русин Подкарпатья, оказавшим влияние на развитие прежде всего русинского языка. По их мнению, именно к языку циркуляров канцелярии епископа (к так называемому язычию) уходит своими корнями кириллическая письменность подкарпатских русин [1. 47.old.].

Удвари прослеживает и жизненный путь Бачинского, уроженца с. Бенятин комитата Унг, где его отец был священником среди переселенцев из Галиции. После окончания Унгварской гимназии иезуитов в 1752–1758 гг. Бачинский продолжил учебу в Надьсомбате, где в последствии стал доктором теологии. Церковную службу священника он начинал в Хайдудороге, где с 1763 г. возглавил епархию, а вскоре стал архиепископом Започским и Хайдудорогским. В соответствии с церковными предписаниями он вел метрические записи на церковнославянском, для своих русинских прихожан проповеди читал на русинском, для венгерских греко-католиков – на венгерском, переписку с магистратом вольного города Дорог вел на венгерском. С церковными деятелями переписывался на латинском и русинском языках, а с комитатскими чиновниками – на официальной латыни. Использование разных языков в церковной службе мотивировалось необходимостью выступлений перед верующими греко-католиками разных национальностей, ведь среди верующих данной конфессии наряду с русинами были и словаки, и венгры.

Судя по исследованию И. Удвари, деятельность Бачинского множеством нитей была связана с жизнью простого русинского народа, особенно велика была его роль в сфере народного просвещения. В 1768 г. при реорганизации Мукачевской епархии по образцу римско-католических епископств он создал капитул из четырех членов и проявлял постоянную заботу о повышении материального благосостояния и культурно-образовательного уровня подкарпат-

ских русин. По личному ходатайству Бачинского епархия в 1776 г. получила от императрицы в свое ведение монастырь в Таполце (комитат Боршод) с годовым доходом в 12 тыс. золотых форинтов. Эти средства пошли на обустройство новой епископской резиденции в Унгваре, где после роспуска ордена иезуитов остались монастырь и храм, а также здание под духовную семинарию. Бачинский реорганизовал и ее, были выделены средства профессорско-преподавательскому составу для занятий научной работой и литературной деятельностью. В семинарии с 1777 г. было налажено обучение и подготовка священников. На содержание воспитанников венгерский королевский двор выделил несколько десятков стипендий, а также средства для оплаты труда пяти профессоров теологии. Языком обучения в семинарии был русинский, а латинский функционировал как вспомогательный. Семинария, которая унаследовала от иезуитов богатую библиотеку и рукописные книги, была расширена архивом, в котором и накапливались циркуляры и собирались ценные документы. Сам епископ переселился в Унгвар в 1780 г. [14. С. 11–13].

Бачинский способствовал также обогащению материальной и духовной культуры как священников, так и своих прихожан. Ему удалось создать процветающий церковный округ, заключить разного рода договоры с казной и руководством комитатов Унг и Марамарош и даже с управляющим имением Шенборнов вблизи Мункача. На эти средства содержались храмы, выделялись помещения для священнослужителей, оказывалась материальная поддержка пастве. В 1773 г. он участвовал в работе совещания греко-католических епископов в Вене, где решался вопрос о выпуске церковных изданий, книг и календарей. Ему удалось убедить Марию-Терезию в необходимости создания большого количества школ и бесплатного образования для детей администрациями комитатов и землевладельцами. Когда в 1806 г. Университетская типография в Буде запросила мнение Бачинского об издании нескольких десятков книг светского и церковного содержания по различным отраслям знаний и школьного обучения, он настоял на том, чтобы дети греко-католических прихожан – русин, венгров, румын – могли получать знания по учебникам на родном языке. По его инициативе в Унгваре с 1793 г. была налажена подготовка школьных учителей при епархии, где преподавание велось на русинском языке. Епископ с 1777 г. стал тайным советником, а с 1778 г. и до своей кончины в ноябре 1809 г. – членом верхней палаты Государственного собрания Венгрии [14. С. 13–15].

Циркуляры епископа Бачинского по сути продолжали практику средневековых грамот и официальных документов: они переписывались, вносились в протоколы, их содержание излагалось прихожанам. И. Удвари пришел к выводу, что влияние церковных документов на формирование и развитие русинского языка было весьма существенным: “Русинская интеллигенция в то время рассматривала язык посланий и документов Бачинского как литературную норму, как образец для подражания и соблюдения” [14. С. 220]. С другой стороны, на базе лингвистического анализа текстов он определил, что на язык документов, выпущенных канцелярией Бачинского, также оказал влияние и русский язык, которым пользовались в Вене при императорском дворе для написания документов, направляемых в регионы со славянским населением.

Слависты Ниредьхазы обращают внимание на то, что русское влияние (которое в дальнейшем, наряду с другими факторами, привело к формированию русофильской ориентации значительной части интеллигенции края, ра-

товавшей вплоть до 40-х годов XX ст. за использование русского в качестве литературного языка русин) в значительной мере исходило с Запада, откуда идеи Просвещения проникали в Вену, а затем посредством официальных документов поступали в канцелярию мукачевского епископа [1. 92.old.]. Вместе с тем на язык канцелярии Бачинского не могла не влиять и языковая среда самих подкарпатских русин. Такое взаимовлияние русского и местного русинского и формировало основы литературного русинского языка, как отмечают слависты НВШ, “функционировавшего вплоть до первой трети XX столетия” [1. 91.old.]. И. Удвари подчеркивает: «Становится ясным, что “язычие” представляет собой не случайное лингвистическое образование, созданное для литературных целей и непонятное для простонародья, как заключают в этом случае некоторые критики. Это скорее плод длительного и естественного развития, опирающегося главным образом на язык, который употреблялся в циркулярах Бачинского» [14. 220–221.old.].

В документальном разделе книги Удвари циркуляры сгруппированы по двум тематическим группам. Одна из них – связанная со взаимоотношением церкви и государства, – показывает, что Иосиф II считал необходимым участие духовенства в жизни государства. Священник, как государственный служащий, кроме церковной службы был обязан исполнять распоряжения, поступавшие из придворной канцелярии, участвовать в организации и реализации задач народного образования и просвещения, вести разъяснительную работу в случае эпидемий, природных катастроф, участвовать в сборе средств для пострадавших и т.п. Учитывая, что государственной конфессией в Венгрии было католичество, духовенство данной конфессии педантично следило за тем, чтобы дети в семьях со смешанным браком воспитывались в духе католицизма. Эти и другие моменты нашли отражение в получаемых из Вены циркулярах, а затем отдельно конкретизировались для русинских священников в циркулярах епископа. В одном из них, в соответствии с распоряжением Наместнического совета, предписывалось проведение выборов настоятелей монастырей, в другом – запрещалось венчать приезжих из Галиции, Богемии, Силезии, Трансильвании, а также из России без разрешения протоиерея.

Другая группа документов касается чисто конфессиональных проблем либо вопросов образования и просвещения. По этим документам можно заключить, что Бачинский считал своей обязанностью уделять особое внимание образованию на родном языке. Циркуляры такого рода написаны в приподнятом, торжественном стиле. При этом небезынтересно отметить, что в циркулярах, изданных после 1795 г., отразились проблемы назревающих национальных движений. Для них было характерно обращение к народу, к народной интеллигенции, подчеркивалась идея необходимости национального сплочения.

Епископ, присутствовавший в 1790 г. на заседаниях Государственного собрания Венгрии, был очевидцем выступлений венгерского дворянства против политики германизации со стороны Вены и мог наблюдать устремления сербов и румын, которые шли вразрез с венгерскими интересами. Идеи национальных движений, указывал Бачинский, станут возможны для реализации лишь тогда, когда народ и интеллигенция будут едины. Его инструкции священникам и учителям нацеливали на эффективное выполнение ими своих обязанностей. В циркуляре от 5 декабря 1780 г., выпущенном по случаю кончины императрицы, констатировались положительные изменения в жизни ру-

синского народа, указывалось на то, что за последние десятилетия народ и его духовенство приобрели во всех отношениях равные права. Епископ, в частности, писал: “Если мы посмотрим на епархию с капитулом, училищем, семинарией, профессорами и церковью кафедральной в Унгваре, на резиденцию епископскую в Мункачеве, викариаты в Марамароше и Сатмаре, на семинаристов в Будине и Вене, на многочисленных священников и дьяконов, повсюду же приходы и села отстроены, обеспечены, украшены” [14. 76.old.].

Так или иначе, в циркулярах Бачинского подчеркнутое внимание уделено культурному и экономическому развитию русин, сохранению и развитию их национального самосознания. Представленные в первом томе книги документы, по оценкам специалистов, сыграли определяющую роль в распространении идей Просвещения среди подкарпатских русин со второй половины XVIII в., создали предпосылки для формирования и развития русинской национальной идеи и становления русинской элиты в Венгрии.

Учитывая значительность вклада Бачинского в развитие русинской культуры, публикацию его циркуляров и анализ его наследия следует считать большой творческой удачей ниредьхазского центра славистики, ибо эти публикации представляют несомненный интерес как для исследователей религиозной культуры, так и для историков и языковедов. К тому же это уникальное издание, сохраняющее язык оригинала публикуемых документов, является также ценнейшим источником для изучения ряда проблем истории подкарпатских русин – их национальной и церковно-конфессиональной истории, истории культуры, памятников языка и русинской письменности в эпоху Просвещения.

Представляя научные труды, изданные кафедрой украинистики и русинистики НВШ, нельзя хотя бы кратко не упомянуть о том, что среди книг, выпущенных кафедрой, имеются и репринтные работы, ценность которых состоит в том, что они позволяют исследователям изучать на языке оригинала как лингвистические, так и религиозно-культурные аспекты и исторические особенности становления и развития подкарпатского русинского народа и его литературного языка. Эти издания прошлых веков, напечатанные на латинском или кириллицей в королевских типографиях Коложвара и Буды, в равной мере помогли росту образовательного уровня подрастающего поколения русин.

Особенно четко выполняли эту функцию учебники латинского и буквари русинского языка, а также церковные катехизисы, в которых в разной степени, но все чаще стал использоваться язык, приближенный к народному [15]. Народная речь в формирующемся литературном языке со временем, однако, все больше пробивала себе дорогу. Выдающийся русинский славист А. Годинка, член Венгерской академии наук, посвятивший всю свою сознательную жизнь изучению истории, культуры и языка подкарпатских русин, среди прочих написавший и историю греко-католической церкви Закарпатья, ряд филологических исследований, составивший русинско-мадярский словарь глаголов, также писал на литературном русинском языке с использованием разговорной речи. Один из его оригинальных трудов такого рода, базирующийся на местных наречиях и вызывающий неподдельный интерес языковедов – “Просторечие, хозяйство и прошлое подкарпатских русинов”, также вошел в серию репринтных изданий НВШ [16].

Венгерские славяноведы-лингвисты утверждают, что русинский язык для “светского употребления” был весьма близок к живой разговорной речи прихожан мукачевской греко-католической епархии. Но это “прогрессивное

для своего времени направление развития литературного языка, основанное на использовании живой разговорной речи, предлагаемое И. Куткой, не получило дальнейшей поддержки элиты духовенства, которая играла ведущую роль в становлении и развитии русинской культуры”. При этом они с полным правом отмечают, что если духовенство долгое время не поддерживало дальнейшее развитие тенденции по использованию разговорной речи для становления и развития литературного языка подкарпатских русин, то позже, – уже в 20–30-е годы XX в., – “сопротивляясь движению русофилов и украинофилов, ратовавших за использование в качестве литературного языка соответственно русского и украинского, именно греко-католическая церковь возглавила движение за создание своего литературного языка на основе народных говоров, отстаивала право местных жителей формировать отдельный этнос” [1. 102.old.].

Рассмотренные выше издания славистов НВШ – это только начало их научно-исследовательской работы по истории языка и литературы, духовной культуры подкарпатских русин, равно как и их политической истории. Все эти проблемы требуют досконального изучения средствами и представителями различных наук, в первую очередь русинистики.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Káprály M.* Pischlöger Christian, Abonyi Andrea. Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék. Kiadványok: 1993–2003. Nyíregyháza, 2003.
2. *Лабови Ф.* История русинов Бачкей, Сриму и Славонии, 1745–1918. Вуковар, 1979.
3. *Basilovits J.* Brevis Notitia Foundationis olmi de Munkacs pro Religiosis Rutenis ordinis Sancti Basilii Magni in Monte Csernek ad Munkacs Theodori Koriatovits. Anno MCCCLX facta. Cassovia, 1779.
4. *Hóman B., Szekfü Gy.* Magyar történet. Budapest, 1936. II.köt.
5. *Hodinka A.* A munkácsi görög katolikus püspökség története. Budapest, 1909; *Lutskay M.* Grammatica Slavo-Ruthena: seu Vetero-Slavica et actu in montibus Carpathicis Parvo Russicae, seu dialecti vigentis linguae. Budae, 1830.
6. A New Slavik Language Is Born: The Rusyn Literary Language of Slovakia // Eastern European Monographs, № CDXXXIV, New York, 1996.
7. *Деже Л.* Деловая письменность русинов в XVII–XVIII веках. Словарь, анализ, тексты. Nyíregyháza, 1996.
8. *Udvari I.* Ruszinok a XVIII. században. Nyíregyháza, 1992.
9. *Király B.* A kelet-közép-európai helyesírások és irodalmi nyelvek alakulása. A budai Egyetemi Nyomda kiadványainak tanulságai, 1777–1848. Nyíregyháza, 2003.
10. *Пон И.* Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород, 2001.
11. *Исторія міст і сіл УРСР.* Закарпатська область. Київ, 1969.
12. *János I.* Ruszinok latin nyelvű papagyricusa II Józsefhez. Nyíregyháza, 2002.
13. *Udvari I.* Русинські жерела урбарської реформи Марії Терезії. Nyíregyháza, 1999; *Udvari I.* Mária Terézia-féle úrbérrendezés forrásai magyarországi délszláv népek nyelvén. Nyíregyháza, 2003. I-II.köt.
14. *Udvari I.* Кирилличні убжіжники мукачовського єпископа Андрія Бачинського. Ніредьгаза, 2002.
15. Букварь языка рускаго съ прочімъ руководіемъ начинающихъ оучитися. Въ Будинѣ Печатано при Кралевскомѣ Університетѣ Писмены Славено-Сербскія Тіпограф. 1799. Nyíregyháza, 1998.
16. Утцюзнина, газдуство и прошлостъ южнокарпатськихъ русинувъ. Написау еденъ соқырницький сирохманъ. Nyíregyháza, 2000.





© 2005 г. Е.Н. КОВТУН

## ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ТРУД О ЛИТЕРАТУРАХ ЗАПАДНЫХ И ЮЖНЫХ СЛАВЯН

Изданный на рубеже XX и XXI столетий трехтомный труд Института славяноведения РАН “История литератур западных и южных славян” стал своеобразным итогом развития российского славистического литературоведения за почти двухсотлетний период. Поэтому оценка этого труда невозможна без учета опыта предшествовавших ему исследований.

Изучение славянских литератур представляет собой неотъемлемую часть славистики как науки о языках, истории, культуре славянских народов. В конце XVIII в. славистика зарождалась прежде всего на базе изучения письменности славян и созданных ими древнейших текстов. На начальном этапе развития славистики доминировал историко-лингвистический аспект исследований. Наиболее важными (если вспомнить сочинения Й. Добровского, П.И. Шафарика, Е. Копитара и других ученых эпохи национального славянского возрождения) считались проблемы языкового родства славянских народов, появления письменности у славян, функционирования старославянского языка. Так было и в России. К примеру, при учреждении в 1811 г. в Московском университете кафедры славянской словесности речь, по сути дела, шла о введении должности профессора церковнославянского языка (см.: [1. С. 183]).

Однако уже в начале формирования российской славистики вполне осознавалась и важность изучения славянских литератур. Устав университетов 1835 г. предписывал учреждение в них кафедр “истории и литературы славянских наречий”. Первыми эти кафедры заняли: в Московском университете – М.Т. Каченовский и О.М. Бодянский; в Харьковском и Петербургском университетах – И.И. Срезневский (сменивший преподававшего в Петербурге П.И. Прейса); в Казанском и Новороссийском университетах – В.И. Григорович.

Хотя содержание и круг тем читаемых этими профессорами курсов значительно различались, не было, как отмечал И.И. Срезневский, “оспариваемо только то, что преподаватели должны помочь своим слушателям в изучении главных славянских наречий и ознакомить их с достоянием западнославянских литератур” [2. С. 36]. Так, О.М. Бодянский освещал “разные части истории литературы сербской, чешской и польской” [2. С. 37], М.Т. Каченовский “из литератур зарубежных славян... характеризовал... чешскую и польскую” [3. С. 97], а П.И. Прейс “читал... курс истории, литературы и языка южных сла-

вян; курс чешской и словацкой истории и литературы; курс польского языка и литературы, включающий также сведения о культуре лужичан и полабских славян” и ряд других [4. С. 284].

Понятие “литература” в ту эпоху имело более широкий смысл, нежели теперь. Преподаватели характеризовали в лекциях совокупность разнообразных типов текстов – религиозных, юридических, художественных, научных, рассматривали грамматики и словари, анализировали произведения устного народного творчества (последним придавалось особое значение как средству выражения национального самосознания). При столь широком подходе изложение неизбежно носило фрагментарный характер. Не хватало обобщающих научных работ и систематизирующих факты учебных изданий. Характеризуя славистический (в том числе литературоведческий) курс обучения, А.Н. Пыпин позже отмечал: “чувствовался... большой пробел в общих, цельных, руководящих книгах... Молодой ученый, приступая к занятиям... оказывался на первых порах в своем предмете, как в дремучем лесу...” [5. С. 88].

Таким образом, в российской славистике очень рано встал вопрос о принципах изучения и преподавания славянских литератур, а следовательно – о выработке научной концепции их развития. В XIX в. сформировались два подхода к систематизации литературного материала. Первый представлен в трудах В.И. Григоровича “Краткое обозрение славянских литератур” (1841. Кн. 1) и “Опыт изложения литературы славян в ее главнейших эпохах” (1843. Ч. 1). В развитии славянских литератур Григорович, основываясь главным образом на духовно-религиозных традициях, выделил шесть периодов (эпох), начиная с IX и заканчивая первой половиной XIX в. В рамках каждого периода исследование велось им по регионам, далее – по жанрам. Так, например, глава о второй эпохе содержала очерк истории славян в XI–XIV вв.; затем общую характеристику литературного процесса с акцентом на формирование национальных языков и выделением специфики западно- и южнославянских литератур; наконец, рассмотрение для каждой литературы наиболее значимых текстов с разделением их на религиозные, “деловые”, исторические и “поэтические”. Доминировал, таким образом, сопоставительный подход.

Иной принцип лег в основу фундаментальных исследований А.Н. Пыпина и В.Д. Спасовича “Обзор истории славянских литератур” (СПб., 1865) и “История славянских литератур” (СПб., 1879–1881. Т. 1–2.). Концепцию этих трудов определил культурно-исторический подход, трактовка литературы как отражения “умственной” и общественной деятельности народа. Не разделяя славянофильских воззрений на единство славян, А.Н. Пыпин считал, что их история, культура и литература должны изучаться независимо для каждого из славянских “племен”. Поэтому после введения, содержащего общие этнографические и статистические сведения о славянах и их языках, изложение в трудах А.Н. Пыпина и В.Д. Спасовича ведется по отдельным литературам, а в рамках каждой из литератур – по эпохам, причем исторический контекст доминирует над закономерностями литературного процесса. Поэтому и оценка произведений чаще дается с точки зрения отражения в них национальной специфики или их влияния на судьбу народа и всего славянства.

Каждый из описанных подходов имел свои сильные и слабые стороны. Работы В.И. Григоровича отличала стройность изложения и большая степень обобщений, однако небольшой объем порождал чрезмерную беглость

характеристик. Для современной науки ясна и субъективность позиции исследователя, преувеличение и романтизация им исторической миссии славянства в Европе. Трудам же А.Н. Пыпина и В.Д. Спасовича присуща фундаментальность, основательность, подробность освещения материала, объективность и строгость концепции (если отвлечься от эмоциональной полемики со славянофильством). Но общий ход изложения определяется у А.Н. Пыпина обособленностью отдельных частей исследования и внутренней логикой развития культуры каждого из славянских народов.

В дальнейшем на протяжении XIX и первой половины XX в. научные труды аналогичной тематики в основном писались в русле пыпинской традиции. Славяноведение все более дифференцировалось, в его рамках формировались как самостоятельные научные дисциплины (история, этнография, мифология славян и др.), так и специализации по различным “ветвям” славянства (полонистика, богемистика, сербскохорватистика и т.д.). Приоритетным стало независимое изучение отдельных литератур. Интерес литературоведов в целом сдвинулся от давнего прошлого к последним двум столетиям, что не в последнюю очередь было связано с ростом внимания именно к современным славянским языкам и культурам начиная со Второй мировой войны. Возрождение в 1940-е годы кафедр славянской филологии в университетах СССР (их деятельность отныне преимущественно ориентировалась на практическое освоение студентами живых славянских языков при основательном изучении соответствующих литератур) и организация Института славяноведения АН СССР (ныне Институт славяноведения РАН) способствовали подготовке многочисленных квалифицированных специалистов-славяноведов.

В послевоенные годы коллективом литературоведов Института славяноведения был создан ряд обобщающих трудов по отдельным славянским литературам: “Очерки истории болгарской литературы XIX–XX веков” (1959); “Очерки истории чешской литературы XIX–XX веков” (1963); “История польской литературы” (в 2-х т., 1968–1969); “История словацкой литературы” (1970). Учитывая время создания этих трудов, не приходится удивляться, что преимущественное внимание в них уделялось более свободной от конфессиональной “нагрузки” литературе нового времени при обзорном изложении древних эпох, освещению прогрессивных, с точки зрения марксистской теории, процессов, антинемецкому и вообще национально-освободительному пафосу, идее славянской взаимности, констатации доминирующей роли событий в России (прежде всего Октябрьской революции и строительства социализма) по отношению к словесному творчеству славянских народов. Не был свободен от идеологических стереотипов и эстетический аспект исследований. В основном прослеживалась динамика развития художественных систем от средневековья до “вершинного” метода – социалистического реализма. Тем не менее, появление данных работ стало существенным этапом развития отечественной славистики, и они, безусловно, сыграли важную роль как в обучении студентов, так и в стимулировании дальнейшего научного поиска.

Обособление национальных “ветвей” славистики и развитие сопоставительных исследований взаимных связей и влияний отдельных славянских литератур друг на друга привело к некоторому снижению (хотя и в данной сфере было сделано немало) интереса к “всеславянским” темам, в частности – к общим закономерностям литературного процесса в инославянских странах. Изучение этих закономерностей в послевоенный период представлено в основном

тематическими сборниками (“Литературные связи древних славян”. Л., 1968; “Славянское барокко”. М., 1979; “Литература эпохи формирования наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. Просвещение. Национальное возрождение”. М., 1982; “Развитие литературы в эпоху формирования наций в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: Романтизм”. М., 1983; “Реализм в литературах стран Центральной и Юго-Восточной Европы”. М., 1983 и др.), в которых, однако, накоплен богатый опыт анализа важнейших проблем и этапов развития славянских литератур, дающий почву для широкомасштабных обобщений.

И вот наконец описанные выше традиции и тенденции изучения славянских литератур в России обрели новое осмысление в трехтомной “Истории литератур западных и южных славян” [6], созданной под эгидой Института славяноведения РАН (например, концептуальным продолжением “Истории литератур западных и южных славян” является двухтомник “История литератур Восточной Европы после Второй мировой войны”, выпущенный Институтом славяноведения РАН в 1995–2001 гг.). Издание охватывает период с древнейших времен до середины прошлого столетия, тем самым дополняя предшествующие труды аналогичного типа материалом конца XIX и первой половины XX в. – времени наиболее интенсивного и плодотворного развития большинства славянских литератур.

Задача книги уникальна. Она состоит в том, чтобы, анализируя художественные тексты, максимально выразительно и выпукло воссоздать для читателя – как специалиста, так и непрофессионала – исторические судьбы и ментальность различных славянских народов (см.: [6. Т. 1. С. 8]). Если ранее западные и южные славянские литературы чаще рассматривались в ряду других, порой оставаясь скрытыми за достижениями западноевропейской или русской словесности, то здесь они выступают как особые литературные общности, являющиеся самостоятельным объектом научного анализа.

Концепция новой книги строилась с учетом опыта, накопленного отечественным литературоведением при создании многотомной “Истории всемирной литературы”, но по сравнению с ней демонстрирует большее смысловое единство и цельность. Фундаментальное исследование удачно совмещает в себе положительные стороны обоих намеченных еще в XIX в. подходов к изложению и систематизации литературных фактов. Единство концепции и масштабность обобщений сопрягаются в “Истории литератур западных и южных славян” с детальным освещением литературного процесса у отдельных народов и анализом творчества большинства значимых как для славянского мира, так и для культуры Европы писателей. Подобное “трехуровневое” (общее – частное – единичное) построение книги обеспечивает возможность раскрытия как общеевропейских закономерностей развития художественной словесности у западных и южных славян, так и присущую конкретным литературам содержательную и художественную специфику.

Структурно трехтомник близок трудам А.Н. Пыпина и В.Д. Спасовича, в нем сохранен принцип отдельного описания славянских литератур. Это не в последнюю очередь обусловлено историей славянских народов в XIX–XX вв. – большинство из них получило государственную независимость. Как и у А.Н. Пыпина и В.Д. Спасовича, в “Истории литератур западных и южных славян” главам об отдельных литературах предпослан обобщающий раздел. Но здесь он не просто рассказывает о славянах, а освещает общую специфику разви-

тия славянских культур в сопоставлении с европейскими и представляет пра-славянскую устную словесность.

Имеются и еще два принципиальных отличия от композиции трудов предшественников. Во-первых, наиболее общее членение осуществляется в “Истории литератур западных и южных славян” не по отдельным народам, а, как некогда у В.И. Григоровича, по хронологическому принципу. В заглавия частей и томов вынесены наиболее крупные исторические эпохи: средневековье и XV – середина XVIII в. (первый том); вторая половина XVIII в. – первая половина XIX в. и 1850–1880-е годы (второй том); рубеж XIX–XX вв., 1920–1930-е годы и Вторая мировая война (третий том). Во-вторых, логику расположения фактического материала в “Истории литератур западных и южных славян” определяют не историко-социологические схемы, но прежде всего закономерности литературного процесса, смена эстетических концепций и художественных систем – разумеется, при достаточном учете исторического и общественного контекста творчества писателей. Принимая во внимание эти факторы, структуру трехтомника следует признать в высшей степени продуманной и четкой.

Обращают на себя внимание существенно расширенные разделы о дописьменном периоде и средневековье, им посвящена значительная часть первого тома. В частности, восстановлено полномасштабное освещение роли религии в формировании культур отдельных славянских народов. Подчеркивается не только важность принятия христианства для становления письменности у славян, но и дифференциация словесности в зависимости от вхождения того или иного народа в западный (*Pax Slavia Latina*) или восточный (*Pax Slavia Orthodoxa*) христианский ареал. Данная дифференциация дополнительно уточнена для эпохи Ренессанса, применительно к которой в западнославянских литературах выделены “романская” (преобладание светской тематики, формирование системы жанров нового времени) и “германская” (протестантская религиозно-дидактическая словесность) разновидности течения литературного процесса. Переосмыслена также концепция барокко в литературах и культурах западных и южных славян, показано, что у некоторых народов барокко частично выполняло функции Ренессанса и Просвещения.

Второй том применительно к XVIII–XIX столетиям постулирует два типа развития славянских литератур: “полный” (для славян, обладавших в это время собственной государственностью) и “ускоренный” (для народов со “сбоями” в культурном развитии). В нем подробно анализируется специфическое отражение и преломление общеевропейских художественных процессов в инославянских литературах: романтизм как выражение национально-освободительного движения славян, “атипичные” (с элементами романтической поэтики) формы и жанры реализма и т.п.

Третий том освещает чрезвычайно важный период в истории инославянских литератур, когда они преодолевают историческое отставание от западноевропейского искусства и по многообразию художественных течений практически сравниваются с ведущими европейскими культурами. Но в наибольшей степени внимание исследователей привлекает специфика славянских литератур в этот период, выражающаяся в известной синкретичности и “неразвитости” модернистских эстетических концепций рубежа XIX–XX вв. (неоромантизм, сочетание индивидуализма с общественной проблематикой и т.д.).

Немало ценных наблюдений и выводов содержится в главах трехтомника, посвященных отдельным литературам. Можно согласиться с тем, что создателям трехтомника удалось “пополнить, углубить, подтвердить или скорректировать – в новых условиях идеологического раскрепощения гуманитарных наук – уже вошедшие в обиход знания” [7. С. 301] о литературе западных и южных славян. В “Истории литератур западных и южных славян” впервые в российском славяноведении подробно освещается история македонской литературы, формирование которой авторы относят к 1880-м годам – первой трети XX в. Есть разделы о серболужицкой и словенской литературах, художественное творчество сербов и хорватов освещается в самостоятельных главах.

Авторский коллектив фундаментального издания составляют ведущие специалисты Российской академии наук, Московского и Санкт-Петербургского университетов, других отечественных научных центров. В состав редакционного совета издания вошли Л.Н. Будагова, А.В. Липатов, С.В. Никольский, им же принадлежат предваряющие отдельные части книги обобщающие разделы. В редколлегию отдельных томов кроме названных ученых вошли и Р.Ф. Доронина, В.В. Мочалова, А.И. Рогов. Над отдельными главами помимо них работали В.Н. Топоров, Б.Н. Флоря, И.И. Калиганов, Л.К. Гаврюшина, Л.С. Кишкин, А.А. Гугнин, О.А. Акимова, Б.Ф. Стахеев, Л.А. Софронова, Д.С. Прокофьева, Н.В. Шведова, Е.В. Степанова, Т.И. Чепелевская, М.Г. Смольянинова, И.К. Горский, М.Л. Бершадская, Н.А. Богомолова, О.Р. Медведева, Ю.В. Богданов, М.И. Рыжова, В.И. Злыднев, М.Б. Ешич, Г.Я. Ильина, В.В. Сонькин, А.Г. Шешкен.

Издание снабжено солидным справочным аппаратом: именованным указателем (составители Н.С. Осипова и В.В. Сонькин) и удобной для пользования библиографией. Последняя содержит разделы: “Общие работы”, “Праславяне, их происхождение, язык и культура”, “Славянская мифология”, “Праславянское мифопоэтическое наследие: фольклор, обряды, праздники”, “Реконструкция праславянских текстов”, “Возникновение славянской письменности. Литература Великой Моравии” и далее по отдельным литературам с указанием периодов.

Авторскому коллективу “Истории литератур западных и южных славян” можно пожелать лишь дальнейшей плодотворной работы в избранной области и достижения действительно общеславянского масштаба. Ясно, что охват материала в трехтомнике соответствует профилю Института славяноведения, который с момента своего создания в 1947 г., в силу сложившейся в славянских странах практики исключать из славистики рассмотрение собственных языка и литературы, занимался именно изучением истории, языка, культуры и литературы западных и южных славян. Тем не менее подготовленный труд стоило бы дополнить историей восточнославянских литератур, как это некогда было сделано А.Н. Пыпиным и В.Д. Спасовичем. Думается, что, например, раздел о русской литературе, написанный для общей истории литератур славянских народов сквозь призму взгляда “из инославянской Европы”, мог бы оказаться полезным – в том числе и для отечественной русистики.

Но и в своем нынешнем виде “История литератур западных и южных славян” способна изменить стереотипы изучения и преподавания славянских литератур в России. Она может стать базой для создания общих учебных курсов на филологических факультетах отечественных вузов, пополнить информацию о славянах и активизировать славянское самосознание не только у буду-

щих профессиональных славистов, но и у тех студентов, для которых основной специализацией является русский язык и литература.

Действительно, полученные студентами-русистами в начале обучения в курсах “Введение в языкознание”, “Введение в славянскую филологию”, “Старославянский язык” сведения о восточных, западных и южных славянских народах и их культурах, как правило, не находят в дальнейшем достаточного культурологического и литературоведческого “закрепления”. В курсах истории России и русской литературы инославянские параллели минимальны. В лекциях по истории зарубежной литературы обилие материала и недостаток аудиторных часов приводят к сокращению изложения прежде всего за счет “малых”, в том числе славянских, литератур. Разработанный на основе подготовленного Институтом славяноведения трехтомника обзорный курс истории и литературы западных и южных славян мог бы стать связующим звеном между изучаемыми на русском отделении дисциплинами “История русской литературы” и “История зарубежной литературы”, заполнив пробел в комплексном освоении русистами европейского литературного процесса. На филологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова в 2002/2003 уч. г. в порядке эксперимента уже начато чтение подобного курса.

Таким образом, значение выхода из печати новой “Истории литератур западных и южных славян” очевидно. Перед нами первая – и несомненно удачная – попытка целостного и одновременно детального рассмотрения западных и южных славянских литератур в общеславянском (учитывая русско-украинско-белорусский ареал) и европейском контексте. В трехтомнике выработан общий взгляд на инославянскую словесность, выделены важнейшие тенденции литературного процесса у отдельных народов, исследованы все основные эстетические платформы, обозначены художественные доминанты. Тем самым убедительно показано как общее, так и особенное в развитии славянских литератур, продемонстрировано их “единство в многообразии”. Едва ли в ближайшие десятилетия будут созданы новые труды аналогичной проблематики и подобного масштаба. “Истории литератур западных и южных славян в трех томах” предстоит на долгие годы стать надежным рабочим инструментом для отечественных и зарубежных славистов.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Филологический факультет Московского университета: Очерки истории. М., 2000. Ч. 1.
2. *Срезневский И.И.* На память о Бодянском, Григоровиче и Прейсе, первых преподавателях славянской филологии. СПб., 1878.
3. *Венедиктов Г.К.* К начальной истории славистической кафедры в Московском университете // Советское славяноведение. 1983. № 1.
4. Славяноведение в дореволюционной России: Биобиблиографический словарь. М, 1979.
5. *Пытин А.Н.* Мои заметки. Саратов, 1996.
6. История литератур западных и южных славян: В 3-х т. Т. 1.: От истоков до середины XVIII века / Отв. ред. А.В. Липатов. М., 1997; Т. 2: Формирование и развитие литератур Нового времени. Вторая половина XVIII – 80-е годы XIX века / Отв. ред. С.В. Никольский. М., 1997; Т. 3: Литература конца XIX – первой половины XX века (1890-е годы – 1945 год) / Отв. ред. Л.Н. Будагова. М., 2001.
7. *Будагова Л.Н.* Некоторые особенности и результаты современных исследований истории литератур западных и южных славян // Литература, культура и фольклор славянских народов: XIII Международный съезд славистов (Люблина, август 2003): Доклады российской делегации. М., 2002.



*Magyar leveleskönyv / Szerkesztette Balogh J., Tóth L.; Kiadja Balázs É.*  
I–II. köt. Budapest, [2001]  
*Венгерский письмовник*

Знаменитое булгаковское выражение “рукописи не горят” от частого употребления несколько потеряло свою остроту и драматизм. Между тем, жизнь дает примеры того, как пророческие слова писателя находят удивительное подтверждение в наши дни. В 2001 г. в Венгрии была издана книга, гранки которой считались сгоревшими около полувека назад. В 1942 г. венгерские ученые Й. Балог и Л. Тот приступили к подготовке двухтомника “Венгерский письмовник”, в котором предполагалось собрать лучшие образцы эпистолярного жанра, накопившиеся за тысячелетнюю венгерскую историю. Кропотливая работа в архивах и рукописных отделах библиотек протекала на фоне трагических событий Второй мировой войны и в период установления в Венгрии народно-демократического режима. Когда в 1948 г. в издательстве, где предполагалось печатать труд, уже были изготовлены гранки обоих томов, последовало правительственное решение о национализации типографий, и новое руководство отказало авторам в публикации.

В числе тех, кто помогал Балогу и Тоту в работе над “Письмовником”, была молодой историк, а впоследствии крупнейший венгерский специалист по истории XVIII в. Э. Балаж. Дома у нее сохранился экземпляр гранок, но придя в отчаяние от того, что пропал труд многих лет, она решила их сжечь. Балог и Тот вскоре умерли, а Балаж многие годы

считала, что ее супруг, которого она попросила бросить в печь ставшие ненужными листы, в точности выполнил ее просьбу. Развязка этой истории последовала в конце 1990-х годов, когда, разбирая коробки с ненужными бумагами, извлеченные из дальних углов дома во время ремонта, она обнаружила те самые гранки, которые считала сгоревшими. Вероятно, тогда, в 1948 г., произошла “счастливая” ошибка, и в огне погибли другие материалы. Венгерское издательство “Corvina” заинтересовалось двухтомником и в короткий срок выпустило “Венгерский письмовник”, сохранив оригинальное художественное оформление книги, характерное для публикаций 30-х – начала 40-х годов XX в.

Авторы сопроводили сборник вступительным эссе, в котором показали развитие венгерской эпистолярной литературы в контексте общеевропейской традиции, восходящей к великим античным образцам (прежде всего Цицерону), развитой отцами церкви (в особенности Августином), формализованной многочисленными средневековыми письмовниками (подобными “Ars dictaminis” Альберика Монтекассинского), доведенной до совершенства гуманистами (от Петрарки до Эразма Роттердамского). Написание писем как искусство насчитывало в Венгрии, по мнению авторов, не более пяти веков и брало свое начало в распространении гуманистических идей при дворе



и в среде аристократии в конце XV–XVI вв. Последовавшие затем Реформация и Контрреформация стали временем расцвета венгерской эпистолярной литературы как жанра. Наследие духовного лидера католической реставрации эстергомского архиепископа Петра Пазманя по сей день считается вершиной этого искусства и образцом для подражания. В то же время письма, даже написанные в подражание великим, никогда не прекращали служить средством коммуникации. Эпоха, представленная сквозь призму отдельной человеческой судьбы, документ, в котором великие события современности порой становились не фокусом, но фоном для личных переживаний, – все это превращает “обычные” письма в интереснейшие свидетельства прошлого, несущие информационную нагрузку и обладающие эстетической ценностью.

Двухтомник открывается письмом особо почитаемого венгерского короля Ласло I Святого к настоятелю Монтекасинаского аббатства Одеризию, написанным на латинском языке и датированным 1090 г. Последним в ряду более чем девятистот документов стоит письмо от 1940 г. венгерского премьер-министра и ученого-географа Пала Телеки к коллеге-географу Й. Чолноки. Возможно, этот выбор предопределило трагическое самоубийство Телеки в апреле 1941 г., совершенное после нападения Гитлера на Югославию, с которой у Венгрии был союзнический договор. Между этими двумя веками через строки писем, написанных монархами, политическими деятелями, военачальниками, церковными иерархами, писателями, художниками, супругами, родителями, детьми, многовековая венгерская история предстает в зримых образах знаменитых и малоизвестных персонажей.

Письма разбиты на тематические группы и расположены в хронологическом порядке. В “Письмовнике” отражены важнейшие события венгерской истории, зафиксированные в письмах замечательных людей сменявшихся эпох, будь то представители венгерской и трансильванской элиты, боровшиеся за объединение разделенной между Габсбургами и

османами страны в XVII в., аристократы, проживавшие в Вене и вращавшиеся в придворных кругах в XVIII в., эмигранты – участники революции 1848 г., или деятели литературы и искусства, творившие в конце XIX – начале XX вв. в Париже. Составители двухтомника также включили в него письма венгерских студентов разных веков, обучавшихся за границей, отчеты венгерского монаха-иезуита Давида Фаи, направленного орденом в XVIII в. с миссией в Южную Америку, и лингвиста Кароя Папай, искавшего в конце XIX в. на Урале прародину венгров.

Язык большинства писем – венгерский, в случаях же, когда письма были написаны на латинском, французском, немецком языках, публикуется венгерский перевод, а ниже это же письмо воспроизводится на языке оригинала. Листая страницы томов, можно ощутить, как грамотность проникала во все более широкие слои общества, переписка становилась неотъемлемой частью не только внутренней политики, межгосударственных отношений или интеллектуального общения, но и частной жизни. Если средневековье – это время дипломатических сношений королей и пап, эпоха Ренессанса – период увлекательнейших заочных дискуссий гуманистов, то Реформация, давшая мощнейший толчок развитию венгерского языка, превратила письма в фактор повседневного общения тысяч пространственно разобщенных людей.

Документы из порой чудом уцелевших, а порой пропавших к моменту выхода “Письмовника” в свет семейных архивов разрушают расхожее мнение о том, что дворянство не писало и не хранило иных писем, кроме как относящихся к нескончаемым судебным имущественным тяжбам. Уже венгерская аристократия раннего Нового времени знала цену искусно составленному письму и умела превратить переписку в искренний диалог с другом, задушевное общение с супругом и детьми. По праву считающиеся классикой жанра письма надора (королевского наместника) Тамаша Надашди к жене Оршое Канижай (середина XVI в.), Эвы Поппель к сыну – главнокомандующему

Задунайским военным округом Адаму Баттяни (середина XVII в.) воссоздают ценные для современного историка детали быта и рисуют богатство внутреннего мира этих высоко образованных людей, свидетельствуют о прекрасном владении ими родным языком и заботе о национальной культуре.

Традиционно любимый венгерской историографией XIX век – время борьбы за национальный суверенитет, оформления буржуазной политической системы, рождения современной венгерской литературы – отразился в письмах выдающихся деятелей эпохи. Среди них Иштван Сечени – идеолог либеральных реформ, залогом успеха которых ему виделась более тесная интеграция с Австрийской империей, и Лайош Кошут – его страстный оппонент, возглавивший революционное правительство в 1848 г. и после поражения движения навсегда покинувший родину. В их числе также Артур Гёргей – блестящий генерал на службе революции, в 1849 г. принявший непростое решение о капитуляции перед габсбургскими войсками, и Дюла Андраши – участник революции 1848 г., венгерский премьер-министр вновь созданной Австро-Венгрии, а затем и министр иностранных дел двуединой монархии. XX век в числе прочих представлен Иштваном Тисой – премьер-министром в канун Первой мировой войны, видевшим единство венгерской нации в верховенстве мадьяр над невенгерскими народами королевств-

ва и залог эффективности политической системы в монополии дворянства на власть; и Куно Клебельсбергом – министром просвещения и культов в период между двумя мировыми войнами, искавшим пути создания новой венгерской идентичности в условиях драматических последствий поражения страны в Первой мировой войне. Не менее важна для понимания судеб и духовная жизнь венгерского общества, поэтому во втором томе читатель найдет богатую подборку писем выдающихся писателей и поэтов: Ференца Кёлчеи, Яноша Араня, Михая Вёрёшмарти, Имре Мадача, Кальмана Миксата и др., живо обсуждавших творческие замыслы и формы сотрудничества во имя развития родной словесности.

Возможно, будь подобный проект задуман и осуществлен не в середине, а в конце XX в., и отбор некоторых фигур, и тематика писем могли бы быть несколько иными, учитывающими методологическое разнообразие современной науки. Однако данная публикация, проделавшая долгий путь к читателям, интересна именно тем, как она вписывается в научную и культурно-просветительскую деятельность 30–40-х годов XX в., дополняя современные представления о том, что ученые тех лет считали непреходяще значимым в национальном прошлом.

© 2005 г. О.В. Хаванова

Славяноведение, № 1

*Foromvāni stalinskēho mocenskēho systēmu. K problēmu tzv. sebedestrukce bolševikū. 1928–1939. Praha. 2003. 342 S.*

*Формирование сталинской системы власти. К проблеме так называемой самодеструкции большевиков 1928–1939*

Проблема формирования сталинской системы власти в СССР и странах Центральной и Юго-Восточной Европы как магнитом приковывала к себе

внимание не только отечественных, но и зарубежных специалистов. Особенно важно изучение феномена сталинизма для понимания причин установления

режимов сталинистского типа после Второй мировой войны.

Книга сотрудников Института истории АН ЧР Я. Ваннера, Э. Ворачека, Б. Литеры и М. Реймана привлекает, но вместе с тем и настораживает своим названием. До знакомства с ее содержанием может сложиться представление, что это очередное “разоблачение” сталинизма как стиля управления.

Однако авторы понимают, что в данном направлении уже очень многое изучено. И в первую очередь русскоязычными историками. Деликатно похвалив “вершинные” в этом плане труды Д. Волкогонова и Э. Радзинского, чешский автор Э. Ворачек призывает не увлекаться разоблачительством, как бы предвидя, что историографический маятник может качнуться и в обратном направлении.

Он и качнулся, особенно в работах, опубликованных к 50-летию со дня смерти И.В. Сталина. Это книги о “параноике и палаче”, с одной стороны, и “непризнанном гении”, превратившем страну в великую Державу, с другой. Есть основания предполагать, что 125-летие со дня рождения Иосифа Джугашвили, которое будет отмечаться в конце 2004 г., станет некой чертой, за которой определенные жанры “сталинианы” изживут себя, уступая место строго историческим исследованиям.

Пока же редко кто из отечественных историков избежал либо гиперкритицизма, либо слепой апологетики. Поэтому весьма значимо обращение к оценочным взглядам извне, в данном случае – со стороны чешских исследователей. Они избрали свой путь: глубоко академический и взвешенный подход к весьма конкретным сторонам жизни тогдашнего общества с опорой на материалы архивов, которые используются не для сенсаций и спекуляций, а для углубленного анализа.

Один из авторов книги Э. Ворачек много внимания уделил изучению феномена сталинизма в период его становления (1927–1939) в чешской и зарубежной историографии, а также обоснованию его интерпретационных моделей. По охвату работ и проникновению в их суть такого рода анализу трудно найти ана-

лог в российской историографии. Поэтому столь весомы его заключения: “Мобилизационный характер режима обуславливал глубокое его внутреннее напряжение, зачастую переходившее в состояние кризиса, с которым он снова и снова справлялся репрессивными средствами. Террор, насилие стали орудием, которое руководство использовало, не всегда просчитывая возможные последствия. Социально-экономические процессы трактовались с точки зрения мышления, ориентированного на удержание власти, что оправдывалось идеологически как приоритет политических решений. Руководящие посты в ходе проходивших в течение нескольких лет жестких столкновений захватил и монополизировал определенный круг людей, в котором бесспорное первенство принадлежало Сталину” (S. 108).

Данная историографическая и интерпретационная основа весьма значима и для остальных разделов книги, где рассматриваются конкретные проблемы, например, становления новых элит (Э. Ворачек). Как правильно считает чешский автор, “вождь” неплохо знал, кого и куда надо вести в качестве “руководящей и наставляющей силы”, равно как знал он и о том, что этой “силе” надо давать, как говорится по-русски, “укорот”.

Это была элита трудящихся (с ударением на первом слоге), а не властвующих: отсюда некая легкость манипулирования ею. Сталин знал, что в элиту можно рекрутировать очень многих, что их легко обмануть идеологически иллюзиями о трудностях “строительства социализма в одной отдельно взятой стране”, а заодно – привлечь социальными привилегиями. Террор в этом плане как бы “не замечался” даже самыми пронизательными служителями нового строя.

Наполненная богатым фактическим материалом глава Ворачека об элите выводит за магический круг, очерченный понятием “номенклатура”, не подрывая важного познавательного его значения. Согласно его меткому наблюдению, “номенклатура имела свои неписанные ограничения, которые детерминировали выбор ее представителей

лишь определенным способом. В ходе первых двух десятилетий в СССР сформировался механизм, который сдерживал тенденцию к саморекрутированию руководящих номенклатурных кадров из родственной среды, при этом осуждалось то, что выражалось исконным русским словом “семейственность”. В соответствии с неким неписанным законом, который, как это ни странно, соблюдался, дети высокопоставленных деятелей никогда не получали должностей, сопоставимых с рангом их родителей” (S.127).

Более приемлемой считалась селекция элиты из широких социальных слоев. В этом плане “выдвиженцев” было удобно “задвигать” на любое место, исходя из презумпции: “незаменимых нет” (кроме самого Сталина) или “отодвигать” в сторону (а то и лишать жизни). К концу 1930-х годов новая элита устоялась, выжили сильнейшие – и не будь войны, они сплотились бы на новых основаниях, считает Э. Ворачек. Подобные процессы рекрутирования элиты происходили и в странах “восточного блока”, вот почему рецензируемая книга интересна и для историков, изучающих историю стран Центральной и Юго-Восточной Европы последующих периодов.

Автору удалось проанализировать, условно говоря, зазоры механизма смены элит. Естественно, один из них – различия между сохранившимися с царских времен “спецами” и партийной верхушкой. В какие-то моменты данная верхушка выступала против “спецедействия” (термин 1930-х годов), но в принципе она была озабочена селекцией элиты на новых основаниях “выдвиженства” (термин тех же времен). “Великий террор” сбалансировал отношения между “спецами” и “выдвиженцами”, создав лояльную элиту из самых разных сегментов общества. Анализ – на богатых статистических и архивных источниках – процессов появления и закрепления позиций “сталинской гвардии” во всех сферах жизни советского общества обладает безусловной ценностью для отечественных специалистов. Тем более, что чешскому автору удается сохранить позицию объективно-го исследователя.

Надо заметить, что подобный анализ содержится и в вышедшей ранее монографии чешского историка П. Вагнера, посвященной правящей элите уже после смерти “вождя”. Характерно даже название его книги “Свора: Схватка за власть в постсталинском руководстве СССР в более широком контексте”. Вагнер пишет: “Под эгидой Сталина советское руководство выглядело монолитом и лишь немногие посвященные знали о напряженности между отдельными звеньями. В окружении Сталина шли столкновения за власть, проходившие прежде всего в плоскости борьбы за влияние на его решения. Однако эта борьба носила в значительной степени закулисный характер и лишь после смерти вождя она приняла более открытые формы” [1. S. 13]. Находясь же на пике власти, Сталин был убежден в своей исторической миссии и, разумеется, даже не чувствовал необходимости объяснить ни современникам, ни потомкам мотивы и смысл предпринимавших им шагов. Более того, прошедшие испытания в ходе террора 1930-х годов властные механизмы сталинизма привносились и в страны Центральной и Юго-Восточной Европы послевоенного периода, что отмечает и чешский автор.

Если вернуться к рецензируемой книге, то главу Э. Ворачека удачно дополняет работа Я. Ваннера о среднем звене управленцев, особенно в регионах. Подчеркивается, что на их долю выпала необходимость конкретно проводить в жизнь лозунги индустриализации под прямым и жестким контролем партийной верхушки и репрессивных органов. Именно “передовая часть рабочего класса” в союзе с технической интеллигенцией обеспечила рост промышленного производства страны. Пятилетка 1938–1942 гг., отмечает автор, уже предполагала перевод экономики на военные рельсы, и он состоялся в угрожающих для жизни страны условиях (интересны приводимые цифры: в 1930 г. военные заводы давали всего 2,6% промышленного производства, в 1940 г. – 22 % (S. 162).

В двух следующих главах книги (авторы Я. Ваннер и Б. Литера), посвященных проблемам отношений центра с регионами, отмечается их большая напряжен-

ность, приведшая к многочисленным жертвам. Так, голод на Украине 1932–1933 гг. в этом плане правомерно трактуется как результат трагических издержек сталинской политики централизации. Стабилизация этого состояния напряженности, знаменовавшаяся принятием “Сталинской конституции” в 1936 г., завершилась “большим террором” уже в 1937 г.

Различные аспекты этого явления анализируют в своих разделах Б. Литера и М. Рейман. Они отмечают, что жертвой террора стала в первую очередь армейская верхушка. “Затруднительно, если не невозможно, даже приблизительно подсчитать последствия ее ликвидации. Видимо, они заключались не столько в количественном, сколько в качественном ущербе, породив кризис в стратегическом планировании и подготовке армии к войне. Репрессии разгромили командование РККА, подорвали ее дисциплину и мораль. В конце 1930-х годов армия погрузилась в летаргию и рутину, что явилось логичным итогом развития. Она стремительно росла в количественном отношении, однако в качественном оставалась на уровне первой половины 30-х годов” (S. 266).

Естественно, террор имел в процессе реализации сталинизма разные цели – рассчитанные на длительную перспективу и кратковременные. Первые связаны с его институционализацией как механизма контроля над элитой, вторые решали скорее тактическую задачу смены того или иного ее сегмента.

Заключает книгу глава Б. Литеры о количестве жертв сталинского режима. Она в основном строится на анализе

русскоязычных источников, но заканчивается квалификацией английского историка Р. Девиса “великого террора” как третьей демографической катастрофы, согласно его, впрочем, не слишком обоснованным предположениям, унесшей жизни около 10 млн человек (в ходе Первой мировой и гражданской войн насчитывалось около 18 млн жертв; в годы Великой Отечественной войны около 26 млн человек) (S. 296). В качестве приложения дан ряд документов из российских архивов (Российский государственный архив социально-политической истории, Государственный архив Российской Федерации, Российский государственный военный архив), относящихся к 1930–1939 гг. в переводе И. Филовой.

Оценивая книгу, хотелось бы отметить глубину анализа авторов, ориентированных на понимание трагической истории СССР в самых гнетущих ее проявлениях, когда в жертву ложной идее приносились обманутые ею же люди – ради устрашения протестующих и сомневающихся. Подходы и выводы рецензируемой книги важны и для анализа послевоенной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы, в которых с немалыми жертвами насаждалась сталинистская модель управления.

© 2005 г. Э.Г. Задорожнюк

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Vágnér P. Smečka. Voj o moc v poststalin-ském vedení SSSR v širším kontextu. Brno, 2002.

Славяноведение, № 1

### *История культур славянских народов. М., 2003. 986 С.*

Академия славянской культуры выпустила в свет первый том “Истории культур славянских народов” под общей редакцией Г.П. Мельникова. В него вошли труды известных исследователей

древнего и средневекового славянского мира, историков культуры, археологов, лингвистов, литературоведов. Книга эта отнюдь не выглядит неким сборником, пусть и тематически связанным.

Она единое целое в плане методологическом, структурированное последовательным движением во времени истории культуры разных славянских народов.

Очень важно, что в данной работе славянство представлено как целое. В ней присутствуют исследования культуры западных, южных и восточных славян, которые довольно часто выпадают из “славянского единства”. Тенденция рассматривать русскую культуру изолированно от других славян здесь преодолена. Глава о древнерусской культуре органично вписана в ряд других. В ней привлекает новый вариант периодизации древнерусской литературы, основанный на различных типах познания мира (А.Н. Ужанков). Не менее значительно и то, что в этот том вошли главы об украинской и белорусской культурах, в которых исчерпывающе представлены ранние периоды их развития (М.В. Дмитриев, Ю.А. Лабынцев, Л.Л. Щавинская).

Открывается книга главами, написанными В.Я. Петрухиным и Е.М. Верещагиным, в них подробно представлен древнейший пласт славянской культуры в археологическом, этнографическом, лингвистическом аспектах. Эти главы не только задают направления всего исследования, но и имеют множество переключек с другими, где показано, как древняя культура наследовалась в средние века. Например, глаголица функционировала у южных славян и в Чехии, о чем пишут И.И. Калиганов и Г.П. Мельников. Многие формы этой культуры участвовали в создании новых мифологий.

Различные славянские культуры в данной работе не просто соположены. Исторические и культурные взаимодействия славян подтверждаются их давними и глубинными связями. Они существовали между Русью и Болгарией, Болгарией и Сербией, Польшей и Чехией и т.д. Эти взаимодействия могли быть “добровольными”, были они выражением сложных политических и исторических отношений (примером может служить полонизация Белоруссии). Они прослеживаются решительно во всех главах, так же как и связи двух кругов славянской культуры, ортодоксальной и латинской, которые Г.П. Мельников предлагает рассматривать как единое целое

и не проводить между ними непроницаемой границы. Как известно, на той же точке зрения стоит В.М. Живов.

Исследователи не упускают из виду “мифологическое единство” славян. Во многих главах, например, идет речь об общей для всех славян мифологеме властитель / пахарь, существовавшей еще в XV в. Заметим, что в свое время на нее обратил внимание А. Мицкевич в “Лекциях по славянской литературе”, являющихся на самом деле историей славянской культуры с романтической точки зрения.

Славянский мир в этом труде не изолирован от западноевропейского культурного пространства. Их взаимодействие просматривается с эпохи расселения славян вплоть до Ренессанса, притом не только на землях, которые, как, например, Словения, исторически были связаны с Италией (а Чехия с Германией), но и там, где географическая удаленность славян от Европы очевидна. Взаимоотношения славян с их соседями, дальними и близкими, было продуктивно уже на самом раннем этапе. Как показывает В.Я. Петрухин, уже тогда общение славян с другими способствовало их идентификации. Также в перекрестках культур рождался образ целостного культурного пространства, переживший вначале этап мифологизации. Авторы внимательно рассматривают эти взаимоотношения и под другим углом зрения. Имеется в виду глубинная связь славянской культуры с Византией и латинским миром. Их наследие осваивалось славянами на протяжении всего Средневековья. Так *чужое* становилось *своим*.

Представляя обширные экскурсы в историю культуры, авторы не лишают историко-культурный материал связей с историей. Примером могут служить главы, написанные И.И. Калигановым, который особое внимание уделяет жизни текста в культуре. Но все же следует сказать, что в некоторых главах история начинает превалировать над культурой. С нашей точки зрения, не следует подробно излагать ход исторических событий, если культура является главным объектом исследования. Это необходимо только тогда, когда исторические события самым непосредственным образом определяют культурное разви-

тие, что, как известно, случается редко и вдобавок происходит опосредованно.

Обоснованно обращается к истории Г.П. Мельников, потому что без подробного анализа событий средневековой истории, трудно понять, что произошло с культурой, почему так замедлился ее ход и она к тому же проявила тенденцию к упрощению. В данном случае история победила культуру, что бывает не всегда. Достаточно вспомнить польский XIX в., озаменованный всплеском творческой энергии нации на фоне подавления национальной независимости. Внутреннюю связь истории и культуры Г.П. Мельников показывает также в Словении, Хорватии, Далмации, Словакии – странах, рано утративших свою государственность и попавших в инокультурную среду, что определило специфику их культурного развития. Она состояла в том, что, может быть, именно эти культуры наиболее настойчиво среди других славян сохраняли свое наследие. Органично выглядит также связь истории и культуры в исследованиях исторического сознания на материале летописей, хронографов, хроник, эпоса. Они охватывают весь славянский ареал. Последовательное изучение взаимоотношений истории и культуры совершенно необходимо и при рассмотрении вопросов о соотношении власти и религии, столь знаменательных для славянского мира.

Все авторы самым подробным образом пишут о сакральном начале культуры, о ее религиозно-конфессиональном облике, прослеживают его сложение со времен принятия христианства, не упуская из виду самые различные формы религиозной жизни, то резко отталкивающиеся от светского, то сливающиеся с ним (исихазм на Балканах, чешский гузмизм), конфликты между православием и католицизмом (Брестская уния), их взаимодействие в сфере культуры. Они показывают, как принятая славянами конфессия определяла их письменность и словесность, как она оформляла различные сферы культуры, архитектуру, живопись, музыку или, напротив, относилась к ним более чем сдержанно. Прослеживают, как происходила сакрализация власти, что послужило в дальнейшем толчком для развития патриотических

идей у многих славян. Не проходят мимо того, как складывалась социальная группа духовенства, как развивалось духовное просвещение (М.В. Дмитриев).

Очерки различных сфер культуры, живописи, архитектуры, музыки, вошедшие в книгу, сами по себе интересны и изложены четко и подробно. Обычно в них в силу естественных причин основное внимание уделяется литературе. В каждой главе рассмотрена система жанров, показана роль переводной литературы (очень интересна в этом отношении глава, написанная И.И. Калигановым). Значительное внимание уделено книге и книгопечатанию. Особенно подробно говорят о книге Ю.А. Лабынцев и Л.Л. Щавинская.

Конечно, хотелось бы увидеть внутреннее единство отдельных сфер культур более отчетливо. Каждая из них, как известно, взаимодействует с другими, тем более на ранних этапах развития. Все они пропитаны общими идеями, несут в себе единые представления о славянской картине мира, подчинены общим законам формы, их язык универсален. Возможно, авторы не ставили своей задачей раскрыть специфику единства культуры в этом аспекте, потому они и избрали метод последовательного описания отдельных сфер культуры, что, видимо, объясняется общей направленностью труда. С одной стороны, это самостоятельное научное исследование. С другой, эта книга явно рассчитана на студентов, только начинающих постигать особенности славянской культуры. Для них этап синтеза еще впереди, хотя, например, Г.П. Мельников в своих главах уже явно готовит их к нему.

Авторы не раз декларируют синтетичность славянской культуры. Об этом пишут В.Я. Петрухин в главе об истоках славянства, Г.П. Мельников, полагающий культуру Великой Моравии с ее “синтезностью” моделью, определяющей дальнейшее развитие славянского мира, и выдвигающий идею синкретизма средневекового сознания, И.И. Калиганов, представляющий разные влияния на сербскую средневековую культуру. Идея синтетичности культуры присуща М.В. Дмитриеву, который пересматривает и углубляет понятие культурной традиции. Ю.А. Лабынцев говорит о по-

рубежности культуры белорусской, что само по себе очень важно.

Через каждую главу проходит идея культурной границы, которая – как показывают авторы – совершенно необязательно отмечает окраины, пограничные зоны. Она может одновременно иметь функцию центра, как, например, древний Киев. Функции границы не только рассматриваются на самом разнообразном материале, также продемонстрировано, как граница, противопоставленная центру, играет формообразующую роль в истории культуры славян. Эта специфическая ее черта прекрасно показана в главах о Белоруссии и Украине. Авторы труда не оставляют без внимания и то обстоятельство, что понятие границы могло мифологизироваться, что не мешало ей тут же вновь принять реальные очертания. Во всех случаях она участвовала в сложении представлений славян о самих себе, доказательством чему служат, например, этнонимы *словаки, словенцы* (В.Я. Петрухин). Как бы подчеркивая свое славянство, эти народы, обитавшие на границах с *другими*, назывались производными от общего имени разных народов. Именно на границах различных культурных зон возникали первые славянские поселения, именно здесь наиболее интенсивно развивалась культура в средние века.

Говоря о развитии славянской культуры, авторы показывают не единое и далеко не мерное поступательное движение. Книга не заражена идеей прогресса. В ней прослеживается, как происходили “откаты” в культурном движении, например в Чехии, как культура будто замирала, используя уже выработанные формы. Новых она не могла создать в силу исторических и политических условий, как в Болгарии или Сербии. Таким образом, идея Ю.М. Лотмана о взрывах в культуре в этом труде удачно дополнена идеей культурного “слома” или “отката”.

Важно отметить, что в рецензируемой работе прослеживается становление “славянской идеи”; показывается, как уже в самые ранние времена славяне разных ветвей, невзирая на конфессиональные различия, осознавали свои надплеменные, надэтнические, наднациональные связи, как к миру славян приписывались Аристотель и Александр

Македонский, что должно было возвысить славян в собственном историческом и культурном сознании. Не менее важен анализ мифа о происхождении славян от трех братьев – Чеха, Леха, Руса на разном материале. Каждый народ перестраивал последовательность этих имен, выдвигая на первое место своего “предка”, наделяя этих культурных героев различными отношениями между собой в зависимости от собственных представлений о своем месте в славянском мире. Следует отметить, что авторы никогда не упускают из виду становление национальных мифологий, например иллиризма, показывают, какие формы приобретают у славян мессианские идеи, которые, как известно, время от времени возрождались.

В каждой главе книги видна попытка, и притом удачная, познакомить читателя с историей науки о славянах. Авторы делают экскурсы в археологические и лингвистические изыскания (В. Петрухин, Е. Верещагин в особенности), стремятся представить развитие знаний о славянском мире.

Каждая глава содержит в себе параграф о фольклоре, что следует отметить как стремление представить культуру в целом, не разрывая “ученый” ее пласт с народным. Имея в виду то, что проявление “славянской общности” в наибольшей степени сказывается именно в народной культуре, включение ее в ряд объектов описания особенно важно. Она не только органично вписывается в материал ранней и средневековой культуры, но и последующих эпох, вплоть до Нового времени. Достаточно вспомнить обращения польского романтизма или югославянских литератур XX в. к славянской мифологии. Вероятно, эту тему можно было бы не разрывать на части и дать в отдельной главе, хотя, с другой стороны, и такая композиция возможна. Но выделение этой темы как самостоятельной позволило бы привлечь к труду также этнолингвистов.

Можно сделать краткое замечание по поводу оформления книги. Хотелось бы, чтобы отдельные главы сопровождались обширным научным аппаратом, а не просто списками литературы. Сейчас такое оформление встречается довольно часто и, видимо, объясняется же-



ланием не перегружать читательское внимание. Наличие научного аппарата только бы расширило круг читателей этого важного труда.

В целом книгу о ранней славянской культуре можно считать состоявшейся. Она разрешает увидеть древний и средневековый славянский мир в целом, различить в нем общие черты, представить

каждую из славянских культур в отдельности, проследить их движение, обнаружить их “наклонности” к разным формам культуры, узнать о роли выдающихся деятелей, портреты которых разбросаны по страницам книги.

© 2005 г. Л.А. Софронова

Славяноведение, № 1

### *Словацкая литература: XX век: Уч. пособие. Ч. II. М., 2003. 576 С.*

После выхода в свет учебника “Словацкая литература: От истоков до конца XIX века” (1997) прошли долгие шесть лет, прежде чем появилось первое в России учебное пособие по истории словацкой литературы XX в. Над этой книгой работал большой коллектив авторов, как с российской, так и со словацкой стороны, представлявших и учебные заведения обеих стран, и научные институты, и учреждения культуры.

Новый учебник явился результатом значительных усилий, предпринятых прежде всего кафедрой славянской филологии филологического факультета МГУ и, в первую очередь, доцентом кафедры Машковой А.Г., сумевшей скоординировать работы ученых двух стран, привлечь к ней преподавателей университетов, сотрудников академий и сделать их совместный труд действительно плодотворным и содержательным.

Второй том представляет совершенно новый материал, восполнивший отсутствие сведений о важных явлениях литературной жизни, авторах и произведениях, которые не нашли должного освещения в литературоведении и критике в предшествующий период, когда руководствовались не эстетическими, а идеологическими критериями в оценках художественного творчества. Ограничения, существовавшие ранее, не позволяли воссоздать полную, правдивую картину развития литературы, без “белых пятен” в

виде целого десятилетия (рубеж 1930-х–1940-х годов и др.), показать непрерывность литературного процесса, сильную зависимость его от исторических событий, от подчиненности пропагандистским задачам.

XX век с его войнами, переворотами, кризисами был для Словакии, как и для всех европейских народов, полон драматизма, и литературное наследие этого исторического периода представляется, как отмечают авторы учебника во введении, действительно самым интересным и наиболее сложным.

Книга охватывает большой объем материала, и композиция, измененная по сравнению с первой частью учебника, представляется вполне оправданной. Традиционно после обзорных глав следуют очерки об отдельных наиболее крупных писателях. Помимо обзорных глав и портретов добавились еще особые разделы о прозе, поэзии и драме отдельных периодов, а также главы по прозе и поэзии молодых авторов.

Учебник состоит из двух крупных блоков: первая и вторая половина XX в., и очерка истории Словакии XX в. Е. Фирсова. Последнее весьма важно для общей ориентации в сложных перипетиях истории в стране, прошедшей путь от незавидного положения в качестве словацких земель в составе монархии Габсбургов до официального вступления в марте 2004 г.

в НАТО, а в мае 2004 г. – в Европейский Союз.

Предложенная в учебнике периодизация носит, как отмечают авторы, условный характер. При этом весьма нетрадиционным образом подан сам ее принцип, в основе которого было стремление приблизить систему критериев литературной периодизации к “внутрилитературному ряду” (С. 5). Целью этого было не столько показать значительную зависимость литературной истории от общественно-политической ситуации, но выявить специфику именно самого литературного процесса, подчиняющегося своим собственным законам.

Выделены, таким образом, следующие периоды: 1900–1920 гг. (вторая “волна” реализма), литература 1920–1950 и литература 1950–2000 гг., причем исследование охватило действительно самые последние, буквально только что вышедшие книги молодых авторов и представителей среднего поколения, таких, как М. Касандра, П. Пиештянек, В. Балла, И. Отченаш, Т. Легенова.

Важной составляющей данного учебника явилось установление связи литературы с другими видами искусства, с живописью, кинематографией, музыкой. Так, уже во вводной главе развитие литературы рассматривается в тесной связи с деятельностью Я.Л. Беллы и М. Шнайдера-Трнавского – выдающихся деятелей музыкального искусства, Д. Юрковича – архитектора, Г. Маллы и М.Т. Митровского – художников.

Итак, открывается пособие обзорной главой, посвященной периоду глубоких перемен в экономике, науке, культуре, общественной жизни от рубежа веков до 20-х годов прошлого столетия. Отмечается, что данный период не был особенно благоприятен для Словакии, но вопреки политике дискриминации по национально-культурному признаку здесь появились яркие таланты, открывшие путь для развития словацкой культуры. Контакты с зарубежными литературами, деятельность общества “Детван”, литераторов, объединившихся вокруг журналов “Hlas”, “Slovenský obzor”, “Prúdy”, “Živena”, “Slovenské pohľady”, способствовали развитию новых течений,

наступлению второй “волны” реализма, но и сохранению национальной самобытности, а в конечном итоге “жанровому синкретизму” (С. 20). Творчество Й.Г. Тайовского, его новая модель литературы рассматривается в связи с достижениями его предшественников. Традиционалист и новатор одновременно, этот представитель “второй” волны, близкий модернизму, явился поистине симптоматичным и ярким примером литературы первой половины XX столетия. Естественно, не обойдены вниманием женщины-писательницы Тимрава и Л. Подъяворинская и представители такого интереснейшего явления, как Словацкая Модерна: И. Краско (ему посвящена отдельная глава), И. Галл, В. Рой, частично Я. Есенский.

Творчество последнего отнесено уже к периоду 1920–1950 гг. Небезосновательно авторы пособия относят его к одним из самых ярких словацких писателей, чья поэзия и проза (в первую очередь роман “Демократы”, вершина творчества Есенского) явились значительным вкладом в словацкую и мировую литературу.

Значительное место уделено в книге национальным литературным традициям (надреализм, Католическая Модерна, поэтизм и др.)

Прозаики Л. Надаши, Й.Ц. Гронский, М. Урбан, П. Илемницкий и другие авторы, а также поэты и драматурги Я. Смрек, В. Бениак, Д. Крочанова, которым посвящены отдельные статьи, проходят чередой многогранных, порой загадочных и противоречивых личностей, чьи произведения стали отражением динамичности, богатства жизни маленького государства, боровшегося за свой национальный суверенитет и выстоявшего в трудные годы революций и войн.

После войны Словакия попала в зону влияния СССР, и изменение политических ориентиров “негативно сказалось на литературной жизни Словакии” (С. 317). Авторы книги дают убедительную картину развития литературы этого периода, когда вопреки стремлениям партии заставить деятелей искусства творить по ее велению, талантливые художники не

сделались иллюстраторами успехов социализма и в жестких условиях тоталитаризма продолжали создавать произведения правдивые и идеологически независимые: В. Шидула, А. Гикиш, Д. Митана и многие другие. Правомерно выделены отдельные статьи, посвященные творчеству поэтов Я. Костры, П. Горова, М. Руфуса, М. Валека, Л. Вадкерти-Гаворниковой, Я. Стахо, прозаиков Ф. Гечко, Д. Татарки, П. Карваша, Л. Тяжкого, П. Виликовского и др. Особо выделена словацкая драматургия рассматриваемого периода. Достаточно обоснованно выделены и три периода в послевоенной литературной жизни (1945–1949; 1950–1955; после 1956 г.). Литературный процесс 1956–1970 гг. выглядит как целостный феномен, а время после XV съезда КПЧ (1976) справедливо называется этапом создания литературы более высокого художественного уровня. Запрещенные авторы Д. Татарка, Я. Силан, Г. Поницка, эмигрировавшие Л. Мнячко, Я. Блажкова, Ф. Внук и другие, а также авторы, свободно публиковавшиеся в социалистической Словакии (О. Заградник, Л. Фелдек, В. Шидула и др.), официальная литература и “самиздат” сосуществовали в едином литературном процессе, не потерялась преемственность и не произошло ее нарушения, несмотря на сложные процессы размежевания по

поколениям и программам, разделы собственности, разные идейные ориентации.

Как справедливо замечают авторы учебника, “полтора десятилетия, отделяющие нас от ноябрьских событий 1989 г., – срок очень небольшой для того, чтобы оценить литературу в условиях зарождающейся демократии” (С. 326). И тем не менее авторам удалось представить достаточно полную картину непростой, насыщенной литературной жизни последнего десятилетия, показать ситуацию с издательской деятельностью, журналами, писательскими объединениями.

Авторы книги логично и убедительно раскрывают причины, почему в тот или иной период словацкие писатели обращались то к социалистическому реализму, то к поэтизму, сюрреализму, обстоятельно показывают историю формирования и завершения таких ее направлений, как натурализм, надреализм, Католическая Модерна. Была проведена действительно огромная работа по сбору большого фактического материала, систематизации и периодизации, переводам со словацкого языка. Данное исследование поистине многогранно, целостно, и оно будет служить ценным педагогическим пособием, являясь в то же время несомненно значительным вкладом в развитие отечественной славистики.

© 2005 г. *И.А. Герчикова*



## О заседании двусторонней комиссии историков России и Румынии

В ноябре 2002 г. в румынском городе Плоешти состоялось очередное заседание двусторонней российско-румынской комиссии историков. Проблемы истории XVII–XIX вв. находились в центре внимания секции “Общество и государство в Румынии и России в Средние века и Новое время. Общее и особенное”. Сопредседатель двусторонней комиссии член-корреспондент Академии наук Румынии *Ф. Константиу* сосредоточился на внутренней, в том числе экономической политике в Дунайских княжествах в период правления ставленников Турции фанариотов в XVIII – начале XIX в. Дискутируя с д.и.н. проф. В.Я. Гросулом (ИРИ РАН), по мнению которого реформы фанариотов придали политической системе Молдовы и Валахии более “восточно-деспотический” характер, усилили зависимость княжеств от Турции и ухудшили условия экономического развития, Константиу обратил внимание на элементы модернизации румынского общества в указанный период – введение более рациональной системы государственного управления, судебной системы, а также на попытки ограничить влияние Порты. С его точки зрения, деятельность некоторых господарей-фанариотов второй половины XVIII в. может быть оценена в контексте своей эпохи как одно из специфических проявлений “просвещенного абсолютизма”. Наряду с осторожным противодействием централизаторским устремлениям Стамбула важным стимулом ограниченных реформ в Дунайских княжествах

стали некоторые опасения, связанные с активизацией России на балканском направлении в эпоху Екатерины II. Речь шла, таким образом, о задаче выживания молдавско-валахской государственности в условиях обостряющегося противостояния двух геополитических коллосов, одной из главных арен которого стали румынские земли.

Известно, что принципиальное усиление влияния России в Дунайских княжествах пришлось на период после установления Адрианопольского мира 1829 г. и было связано с деятельностью главы временной российской администрации просвещенного реформатора генерала П.Д. Киселева. К.и.н. *В.Б. Перхавко* (ИРИ РАН), выступивший с интересным докладом “Народные ополчения в истории России”, обратил внимание на использование опыта войны 1812 г., и не в последнюю очередь партизанских движений, при осуществлении военных реформ в Дунайских княжествах, в частности, создании “земских войск”, первый контингент которых составили добровольцы, сражавшиеся на российской стороне в русско-турецкой войне 1828–1829 гг. По мнению Перхавко, проследившего историю народных ополчений в России со времен раннего средневековья до второй половины XIX в., стихийное движение снизу в моменты острых внешних угроз (Смутное время начала XVII в. или Отечественная война 1812 г.) нисколько не исключало целенаправленного государственного регулирования сверху, при котором принцип добровольности уже не

был доминирующим. В этих случаях основным источником рекрутирования ополченцев становилось уже не посадское, городское население (как при Минине и Пожарском), а государственное крестьянство. Иногда создание временных военных формирований подобным народным ополчениям могло преследовать не столько оборонительные, сколько контрнаступательные и даже захватнические цели (например, в Ливонскую войну). В.Б. Перхавко затронул также вопрос о роли народных ополчений в организации профессиональных армий (начиная со Смутного времени). Он отметил, что социально разнородный характер формирований не способствовал их прочности. Вопрос о критериях принадлежности к профессиональным военнослужащим применительно к допетровскому и даже петровскому времени нуждается в дальнейшем изучении. Известно, что стрельцы в конце XVII в. активно занимались торговлей и промыслами.

В 1812 г. среди участников народных ополчений проявились необоснованные надежды на освобождение от крепостной зависимости. Аналогичные настроения, как отметил В.Б. Перхавко, имели место и в период Крымской войны, они выразились в попытках создать ополченческие формирования снизу, минуя соответствующие распоряжения властей, которые были вынуждены даже организовать вооруженные преграды на пути крестьянских отрядов, шедших в Крым. Реакция официального Санкт-Петербурга на бытующие в обществе (в первую очередь, высшем) настроения стала предметом рассмотрения *В.Я. Гросула*, выступившего с докладом “Власть и общественное мнение в истории России (XVIII–XIX вв.)”, построенным на широком круге источников, включая материалы секретной полиции. Сформировавшееся в России, главным образом в эпоху Екатерины II, высшее светское общество становится в первую половину правления Александра I фактором, влияющим на принятие государственных решений. В угоду общественному мнению М.М. Сперанский в 1812 г. был отправлен в ссылку,

а через несколько месяцев М.И. Кутузов был назначен главнокомандующим русской армией в войне с Наполеоном. После победы над Наполеоном и Венского конгресса, сильно упорочившего державные позиции России, “нечаянно согретый славой” монарх все меньше считался с мнением общества, что проявилось, в частности, в выдвигании на первые роли непопулярного А.А. Аракчеева. Смертельно напуганный декабристским восстанием брат и преемник Александра Николай I внимательно изучал общественное мнение, значительно усовершенствовал систему наблюдения за ним. В своей практической политике, однако, он часто действовал вразрез с мнением дворянского общества, не в последнюю очередь, в чрезвычайно остро стоявшем крестьянском вопросе. Пришедший ему на смену Александр II в первые годы своего правления активно поощрял общественное мнение, видя в нем потенциального союзника реформ. В дальнейшем, однако, по мере того, как проекты реформ переводились в практическую плоскость, приводя к неоднозначным последствиям, он все чаще в своей политике сталкивался с общественным мнением. В 1860-е годы в связи с польским восстанием внимание не только элиты, но и более широкого общества привлекает национальный вопрос, в 1870-е годы становится актуальным рабочий вопрос, по которому (как и по крестьянскому вопросу) сталкивались различные, зачастую взаимоисключающие точки зрения. По мнению В.Я. Гросула, после 1812 г. говорить о единстве общественного мнения в России можно в первую очередь по отношению к так называемому “восточному вопросу” – политике России на Балканах, особенно в период кризиса 1875–1878 гг.

О роли российского фактора в модернизации Дунайских княжеств в 1830–1840-е годы говорил академик Академии наук Румынии *Д. Бериндей*. Хотя Россия преследовала на Балканах собственную цель – ослабление Турции, ее интересы объективно совпали с устремлениями румынской политической элиты. Российский протекторат

способствовал развитию Дунайских княжеств по пути прогресса – при том, что реформаторская деятельность П.Д. Киселева в румынских землях сдерживалась Николаем I и, с другой стороны, модернизация проводилась в интересах крупного боярства, самой влиятельной политической силы. Д. Бериндей отметил роль русского офицерства не только в повышении боеспособности армий Молдовы и Валахии, но и в распространении в румынском обществе идей Просвещения и либерализма. Хотя социальный взрыв 1848 г. доказал недостаточность и ограниченность проведенной модернизации, вместе с тем румынское общество достигло уровня, позволившего стране органично включиться в общеевропейский революционный процесс. С революцией 1848 г. началась новая фаза развития, ее результатом явилось решение самой насущной для своего времени задачи – объединения Дунайских княжеств в 1859 г.

Решающую роль в модернизации Румынии, не только ее идеологическом обеспечении, но и в практическом осуществлении реформ, сыграла дворянская интеллектуальная элита. Председатель двусторонней комиссии академик РАН *Л.В. Милов* (МГУ им М.В. Ломоносова) посвятил свое выступление выявлению социальной роли (в обществах разного типа) наиболее квалифицированной части интеллигенции, специалистов различных сфер деятельности, которые в силу уникальности знаний, умений, мастерства не превращаются при капитализме в “пролетариев умственного труда” (в отличие от рядовых интеллигентов, способных удовлетворить социальный спрос на интеллектуальные услуги массового характера – на производстве, в системе образования, медицине, в правовой сфере и т.д.), а становятся собственниками особого рода, при этом собственностью на мастерство реализуется в зависимости от конкретной социальной ситуации и может оказаться невостребованной. В условиях реального социализма советского образца восторжествовал эгалитаристский подход к мастерству и уникальным знаниям, в полной мере унаследованный и постсовет-

ской Россией, что угрожает резким снижением научного потенциала страны даже в тех областях, где соображения государственной целесообразности и конкурентоспособности советской системы ранее позволяли поддерживать относительно высокий мировой уровень.

Влияние советской модели социализма на румыно-советские отношения и внутривластную ситуацию в Румынии в 1940–1950-е годы обсуждалось в ходе работы самостоятельной секции. *В. Буга* (Бухарест) на основании документов из московских архивов, опубликованных в последние годы российскими историками [1], проследил процесс советизации и сталинизации в послевоенной Румынии, выделив в нем несколько фаз. По его мнению, говорить о советизации Румынии можно уже применительно к периоду начиная с марта 1945 г., когда вследствие прямого диктата СССР к власти пришло прокоммунистическое правительство П. Грозы, причем основы сталинизма в этой стране были в основном заложены к концу 1947 г. – в это время был ликвидирован последний из сохранявшихся рудиментов прежнего устройства, монархическое правление. Как полагает дискутировавшая с *В. Бугой* д.и.н. *Т.В. Волокитина* (ИСЛ РАН), актуальная для советского руководства задача создания пояса дружественных государств в непосредственной близости СССР не предполагала обязательного навязывания советской модели, поскольку такая тактика вела бы к неизбежному обострению отношений с Западом, нежелательному для Москвы. Ставка на советизацию была сделана лишь с началом “холодной войны” и выразилась в создании в сентябре 1947 г. Коминформа. *Т.В. Волокитина* акцентировала внимание на объективном совпадении интересов Москвы и национальных коммунистических элит Восточной Европы, выступивших проводниками советского влияния. Институт приглашенных из СССР советников, ставший одним из важнейших инструментов навязывания советской модели, сформировался отнюдь не против воли “местных” коммунистов, долгое время заинтересованных в сохранении этой формы поддержки

Москвой своей власти (не в последнюю очередь в Румынии, где до 1945 г. компартия была очень маргинальной политической силой). Кроме того, приглашение советников диктовалось не только политическими мотивами, но и соображениями повышения профессионализма соответствующих кадров в тех или иных странах (как заметил в ходе работы секции военный историк П. Оту из Бухареста, еще весной 1945 г. румынское министерство обороны просило маршала Ф.И. Толбухина прислать из Москвы компетентных военных специалистов в качестве консультантов). Вообще говорить о массированном внедрении сталинских образцов можно лишь применительно ко времени, когда сформировалась внутренняя сила, способная выполнить эту политическую миссию.

П. Оту в этой связи обратил внимание на сопротивление общества навязыванию чуждой ему идеологии и политической модели. В его докладе речь шла об использовании “советского опыта” в процессе реорганизации румынской армии после 1948 г. В отличие от соседней Болгарии, где старая армия фактически была распущена, в Румынии происходила несколько более плавная ее реорганизация, главными элементами которой стали внедрение института политруков и кадровые чистки по политическим мотивам. В общей сложности около 80% офицерского корпуса было уволено из армии из-за неблагонадежности. Это не могло не сказаться отрицательно на профессиональной и общеобразовательной подготовке командного состава. Слушателями военных академий зачастую становились люди, прошедшие только начальную школу. В 1955 г. всего 30% офицеров румынской армии имели среднее и высшее образование. Однако П. Оту не мог не признать, что следование советским образцам способствовало и модернизации румынской армии, появлению в ней новых родов войск, оснащению более современным вооружением.

*В.Я. Гросул* в той же связи заметил, что реорганизация румынской армии на основе советского опыта могла опереться на достаточно длительную традицию российско-румынского сотру-

ничества в военной области (он напомнил о молдавских полках в армии Петра I, об участии румынских формирований в нескольких русско-турецких войнах на стороне России, о военных реформах П.Д. Киселева в начале 1830-х годов). *Ф. Константиу*, полемизируя с *В.Я. Гросулом*, привел в пример целый ряд попыток реформировать армию королевской Румынии по французским, немецким, австро-венгерским образцам (1860–1870-е годы, канун и годы Первой мировой войны, межвоенный период).

Важный толчок военным реформам в Румынии, как и в других странах “национальной демократии” в начале 1950-х годов дала встреча И. Сталина с лидерами этих стран 9 января 1951 г. Ссылаясь на резкое обострение отношений с Западом и сохраняющийся конфликт с Югославией, советский вождь настоял на резком увеличении расходов на оборону и связанные с ней отрасли индустрии в странах-сателлитах СССР, что легло тяжелым бременем на их экономику, усугубило положение масс, способствовало возникновению кризисных явлений. Причем расширение численного состава ряда армий (румынской, венгерской, болгарской) происходило в нарушение положений Парижского мирного договора 1947 г. с сателлитами Германии. О январской встрече у Сталина историкам известно в первую очередь из требующих к себе весьма критического подхода мемуаров венгерского лидера М. Ракоши, публиковавшихся и в России (в 1997–1999 гг. в журнале “Исторический архив”). Военный историк *Ф. Шперля* (Бухарест) привел другой, несколько менее известный источник – запись, которую выполнил по итогам беседы министр обороны Румынии Э. Боднэраш.

Темой доклада к.и.н. *Т.А. Покивайловой* (ИСЛ РАН) была политика восточноевропейских режимов начала 1950-х годов в информационной сфере. Обладание монополией на распространение информации, формирование общественного сознания являлось важной составляющей механизма контроля над обществом. И до установления просоветских режимов в этих странах печать, обслуживавшая оппозицию, подверга-

лась давлению прокоммунистических сил, располагавших для этого необходимыми рычагами. Монопольное утверждение коммунистов у власти сопровождалось ликвидацией полиинформационной среды в странах Восточной Европы.

*И. Калафетяну* (Бухарест) говорил о политике коммунистического режима в Румынии по депортации подлинных и мнимых противников властей (речь идет об арестах, ссылках, а также высылке в СССР бывших жителей Бессарабии и Северной Буковины), привел внушительные цифры по отдельным категориям населения. *Д. Кэтэнуш* (Бухарест) сделал предметом своего сообщения острую борьбу за власть в румынском партийном руководстве между Г. Георгиу-Дежем и А. Паукер (а также В. Лукой). Губительные последствия коллективизации, проведенной в начале 1950-х годов по советским образцам, Георгиу-Деж использовал в качестве повода для ослабления позиций своих оппонентов, нанесения по ним решающего удара.

*Т.В. Волокитина* остановилась на взаимоотношениях советской и румынской партийных элит в первый послесталинский период. Требование Сталина о переакцентировке экономики на тяжелые отрасли промышленности поставило румынских лидеров перед рядом трудноразрешимых проблем. В условиях, когда уже существовала задолженность Румынии Чехословакии и ГДР, 3 октября 1953 г. Георгиу-Деж обратился к послу СССР Л.Г. Мельникову с просьбой о предоставлении Советским Союзом кредита в 400 млн рублей. В начале 1954 г. советская сторона дала согласие предоставить Румынии 200 млн рублей, которые среди прочего предполагалось использовать на завершение строительства канала Дунай – Черное море, оставшийся, впрочем, так и недостроенным. Интересно, что за полгода до этого, в июне 1953 г., Л. Берия под впечатлением волнений в чехословацком городе Пльзене 1 июня подверг резкой критике идею строительства этого канала как пример “неудачного совета” Москвы, поставившего одного из союзников в сложное экономическое положение.

В ходе бесед членов Президиума ЦК КПСС с делегацией компартии Румы-

нии, состоявшихся в Москве 26 января и 1 февраля 1954 г., румынская сторона, в силу исторических причин всегда болезненно реагирующая на любую попытку активизации культурных движений трансильванских венгров, подняла вопрос о содействии советского руководства пересмотру действовавшего венгеро-румынского договора о культурном сотрудничестве на том основании, что его условия, по мнению румын, открывали слишком большие возможности для пропаганды венгерского национализма. Советские лидеры в ответ изложили свою принципиальную позицию: вопрос о принадлежности Трансильвании Румынии решен окончательно и бесповоротно, однако никакого ущемления венгерского меньшинства в РНР быть не должно, и при необходимости следует открыть новые венгерские школы и газеты. Имеющиеся расхождения по вопросу о содержании договора было предложено устранить путем добрососедских переговоров с венгерскими товарищами.

В ходе указанных бесед с румынской стороны поднимался также вопрос о судьбе Л. Патрашкану, видного деятеля компартии, “правоуклониста”, арестованного еще в 1948 г. Окончательный ответ советских руководителей не зафиксирован в доступных на сегодняшний день историкам архивных документах. Решение о закрытом процессе, на котором и был вынесен смертный приговор Патрашкану, Политбюро ЦК компартии Румынии приняло в марте 1954 г. Георгиу-Деж, обычно охотно ссылавшийся на рекомендации советских товарищей, на этот раз предпочел ничего не говорить о советах Москвы.

Очередное заседание совместной российско-румынской комиссии историков проходило в одном из крупнейших в Восточной Европе центров добычи и переработки нефти, г. Плоешти при поддержке компании “Лукойл”. Выбор спонсора в известной мере диктовал тематику научной конференции. “Нефть в истории России и Румынии, мировой политике и международных отношениях” – такова была тема одной из секций. С докладами выступили вице-председатель сената Румынии проф. *Г. Бузату* (г. Яссы), исто-



рики из г. Плоешти *Г. Преда*, *Э. Стэнеску*, *К. Добреску*, *Г. Калкан* и др. В межвоенный период Румыния представляла все больший интерес для более развитых государств не как поставщик сельскохозяйственной продукции, а как нефтедобывающая страна; в 1930-е годы она занимала шестое место в мире по экспорту нефти, поставляя ее примерно в 40 стран, включая Британию и Францию. Сделанный в конце 1930-х годов окончательный политический выбор страны в пользу сближения с третьим рейхом, а затем и начавшаяся мировая война привели к существенным изменениям во внешнеэкономических связях Бухареста. Вследствие внешнеполитической изоляции и экономической блокады в апреле 1940 г. Румыния вывозила нефть в 19, а в 1941 г. уже в девять стран. С другой стороны, в условиях, когда совершенно прекратились поставки нефти в Германию странами антифашистской коалиции, заметно возросла роль Румынии в обслуживании своими нефтяными запасами третьего рейха и его союзников. С началом боевых действий на Балканах (война между Италией и Грецией осенью 1940 г.) в Бухаресте и Берлине, интересы которых в данном вопросе всецело совпадали, возникали опасения бомбардировок британской и американской авиацией дальнего действия нефтеносных скважин Румынии. В районе Плоешти с немецкой помощью была в короткие сроки воздвигнута одна из наиболее совершенных в мире систем противовоздушной обороны. С вступлением Румынии в войну против СССР она была призвана обеспечить безопасность румынских нефтепромыслов также на случай ответных воздушных атак советских ВВС. Нападение англо-американской штурмовой авиации (направлявшейся из Северной Африки) на нефтяные промыслы Румынии впервые пришлось на июль 1942 г., когда район Плоешти стал полигоном для испытания новейших типов бомб. При этом в первые недели бомбардировок союзническая авиация понесла большие потери (около 140 сбитых самолетов).

При всей неоспоримой значимости румынской нефти для третьего рейха, с расширением масштабов боевых дейст-

вий Германия все более сталкивалась с дефицитом топлива, что предопределило один из важнейших стратегических замыслов Берлина на восточном фронте – пробиться через Кавказ к нефтяным источникам Баку.

Для того чтобы не дать Красной Армии возможность в результате контрудара из Бессарабии захватить в первые месяцы войны нефтеносные поля в районе Плоешти, в штабе вермахта летом 1941 г. придавали большое значение наступлению румынской армии в Бессарабии и Южной Украине. Вопрос об участии Румынии в войне против СССР вызвал в ходе конференции дискуссию. По мнению такого влиятельного историка и политика, как *Г. Бузату*, курс маршала Антонеску на максимальное сближение с Германией и участие Румынии в войне против СССР не имели реальной альтернативы, тем более в условиях усиления в румынском общественном мнении антисоветских настроений вследствие присоединения к СССР Бессарабии в 1940 г. Став верным слугой Гитлера, Антонеску прежде всего рассчитывал на пересмотр несправедливых решений Второго венского арбитража о передаче Венгрии Северной Трансильвании. Некоторые из выступавших, однако, отметили проявившееся в политике режима Антонеску явное стремление компенсировать утрату части Трансильвании за счет украинских земель.

В ряде сообщений речь шла о роли добычи и экспорта нефти в поддержке румынской экономики в условиях кризиса начала 1929–1933 гг. и Второй мировой войны, а также в модернизации румынского общества в первой половине XX в. Будущее Румынии как одного из поставщиков нефти активно обсуждалось на Парижской мирной конференции 1946 г., рассмотревшей проекты мирных договоров государств антигитлеровской коалиции с бывшими союзниками фашистской Германии в Европе. По мнению некоторых румынских докладчиков, статус побежденной страны не дал Румынии возможности в полной мере защитить свои интересы, заставив ее отказаться от более выгодных договоров об экспорте нефти, нежели по-

ставки ее в СССР, начатые еще в конце 1944 г. Впрочем, после Второй мировой войны, по мере увеличения объемов нефтедобычи на Ближнем Востоке Румыния быстро теряет свое значение как экспортер нефти. Между тем, столкновение интересов отдельных стран и транснациональных корпораций, стремившихся к сохранению или, напротив, установлению своего контроля над главными путями транспортировки нефти становится в 1950-е годы важным фактором мировой политики, приводит к серьезным кризисам международных отношений, в частности конфликту 1956 г. вокруг национализации президентом Египта Г.А. Насером Суэцкого канала, ранее принадлежавшего совместной британско-французской компании.

К.и.н. А.С. *Стыкалин* (ИСл РАН) сделал доклад о взаимосвязи суэцкого кризиса с драматическими событиями осени 1956 г. в странах Восточной Европы – Венгрии и Польше. В последнее время историками доказано, что решение о сроках военных действий в отношении Египта, начатых в последние дни октября 1956 г., было принято лидерами Великобритании и Франции (согласовавшими свои планы с Израилем) еще до венгерского восстания 23 октября. Это не означает, однако, что, выбирая момент для начала акции и планируя ее конкретное осуществление, правящие круги этих стран совершенно не учитывали осложнения ситуации в Восточной Европе, способного до известной степени отвлечь внимание Кремля от происходящего на Ближнем Востоке и уж во всяком случае снизить вероятность активного противодействия СССР политике европейских держав, в частности, посылки советских войск в район Суэцкого канала. Как явствует из записей заседания Президиума ЦК КПСС, Хрущев еще до начала боевых действий на Ближнем Востоке был хорошо осведомлен о военных приготовлениях европейских держав. Ближневосточная политика Великобритании и Франции поначалу являлась для него одним из важных аргументов в пользу мирного варианта решения венгерской проблемы (“Политически нам выгодно. Англичане и фран-

цузы в Египте заваривают кашу. Не попасть бы в одну компанию” [2. С. 186]). Но по мере дальнейшего развития событий на Суэце менялся и взгляд на них из Москвы. Как видно из записей заседаний Президиума ЦК КПСС за 31 октября (первый день бомбардировок британской авиацией Каира и Порт-Саида), советское руководство в сложившейся обстановке мало надеялось на способность дружественного египетского режима к длительному сопротивлению, ожидало от него неминуемых уступок и в силу этого расценило ход событий на Суэцком канале как сдачу своих позиций на Ближнем Востоке. Поскольку в Венгрии Советскому Союзу на определенном этапе также пришлось пойти на принципиальные уступки (дать согласие на вывод своих войск), напрашивалась явная параллель – как венгерские, так и ближневосточные события могли быть восприняты и в СССР, и за рубежом как звенья одной цепи, два симптома ослабления советского влияния в мире (“Если мы уйдем из Венгрии, это подбодрит американцев, англичан и французов-империалистов. Они поймут как нашу слабость и будут наступать. Мы проявим тогда слабость своих позиций. Нас не поймет наша партия. К Египту им тогда прибавим Венгрию. Выбора у нас другого нет”, – рассуждал Хрущев [2. С. 191]). Демонстрация военной силы в Венгрии могла опровергнуть подобное представление, и это было важным аргументом в пользу ее необходимости. Кроме того, антиегипетская акция трех стран, кстати, не поддержанная правительством США и осужденная многими западными, в том числе и левыми, политиками, стала тем внешним фоном, на котором советская интервенция в Венгрии могла бы вызвать более снисходительное отношение мировой общественности. Наконец, и это самое важное, вовлеченность стран НАТО в ближневосточный конфликт снижала вероятность активного вмешательства этого блока в события в Восточной Европе, тем более в момент, когда внутри западного лагеря впервые за послевоенный период столь отчетливо проявились принципиальные разногласия. Таким образом, благодаря суэц-

кому кризису СССР получал больше свободы в венгерских делах.

В выступлениях румынских историков, посвященных межвоенному периоду, говорилось о продвинутой социальной политике нефтяных компаний, выгодно отличавших их в этом отношении от других промышленных фирм страны. Эта тема получила развитие и в докладе д.и.н. *М.В. Каргаловой* (Институт Европы РАН), написанном на современном материале, о социальных аспектах в деятельности “Лукойла”. По мнению докладчика, способность создать совершенную систему социальной защиты, установить партнерские отношения с профсоюзами и т.д. становится в наши дни все более важным условием конкурентоспособности транснациональных корпораций, претендующих на роль главной движущей силы в процессе модернизации и поэто-

му заботящихся о своем позитивном имидже в мире.

В ходе встречи историков двух стран были обсуждены планы дальнейшей деятельности совместной комиссии, активизировавшей в последние годы свою работу (см.: [3]).

© 2005 г. *А. Колин, А.С. Стыкалин*

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Восточная Европа в документах российских архивов. 1944–1953. М., 1997–1998. Т. 1–2; “Советский фактор” в Восточной Европе. 1944–1953. М., 1999–2002. Т. 1–2.
2. Президиум ЦК КПСС. 1954–1964. М., 2003. Т. 1.
3. Славяноведение. 2003. № 3.

Славяноведение, № 1

### Конференция “Общественные движения в России и в Польше (до Второй мировой войны)”

В течение почти сорока лет регулярно проводятся конференции Комиссии историков России и Польши, а их материалы неизменно публикуются в специальных сборниках. Столь завидное постоянство – заслуга нескольких поколений ученых наших стран, и приятно сознавать, что заложенные ими традиции плодотворно продолжают и сегодня. Доказательством этому может послужить и 36-я конференция, состоявшаяся в сентябре 2003 г. в Варшаве. Она проводилась 16–18 сентября в Институте истории Польской Академии наук, а ее заседания проходили в залах имени И. Лелевеля и Т. Костюшко, людей, олицетворяющих самые славные страницы польской истории и исторической науки.

Характеризуя тему нынешней конференции, сопредседатель польской части Комиссии проф. *В. Сливовска* отме-

тила, что “общественные движения рождались снизу и вместе с тем не были непосредственно связаны с тайными освободительными организациями”. Обращаясь к истории общественных движений, сопоставляя их развитие в России и в Польше, Комиссия «стремилась как выйти за пределы тематики, особенно популярной в предыдущий период и касающейся узко понимаемых польско-российских связей, так и отойти от доминирующих в последнее десятилетие вопросов, связанных с так называемыми “белыми пятнами”» в истории наших народов. Продолжая мысль проф. Сливовской, хотелось бы сказать, что тема прошедшей конференции и представленные на ней доклады продемонстрировали, насколько глубокими и многогранными были исторические связи народов Польши и России, а также сколь широк круг

исследовательских проблем, представляющих взаимный интерес для российских и польских историков, что в свою очередь создает условия для их плодотворного сотрудничества.

В день начала работы конференции участников приветствовали сопредседатели Комиссии с польской и российской стороны проф. *В. Сливовска* и член-корр. РАН *В.К. Волков*, а также директор Института истории ПАН проф. *С. Былина*. Они отметили значение многолетнего сотрудничества ученых наших стран, роль в нем двусторонней Комиссии историков России и Польши, передали приветствия Президиума Польской академии наук и Президиума Российской академии наук, а также пожелание успешной работы. Далее о традициях, преемственности и новаторстве в работе Комиссии говорили возглавлявшие ее в 1980–1990-е годы академик ПАН *Ю. Бардах* и член-корр. РАН *Я.Н. Щанов*.

Научная программа конференции была открыта докладами *М.Е. Быковой* (Москва), *Б.Н. Флори* (Москва) и *Б.В. Носова* (Москва), посвященными общественным движениям XVI–XVIII вв. Особенность социальных процессов указанного периода состояла в том, что общественные движения в то время развивались в условиях сословного строя, были непосредственно связаны с интересами сословий и находили выражение в рамках институтов сословного общества. Особый интерес и оживленную дискуссию вызвал доклад *Б.Н. Флори* “Общественные движения в России в эпоху Смуты начала XVII в. и Речь Посполитая”, в котором докладчик не только обосновал тезис о формировании в России земского начала, когда “Земля”, претендуя на роль самостоятельного и равноправного субъекта, противопоставляла себя государству, но и сделал вывод о заинтересованности “земских деятелей” в союзе с Польско-Литовской шляхетской республикой при условии распространения привилегий польской шляхты на господствующее сословие Московского государства.

Тема традиций шляхетской Речи Посполитой XVII–XVIII вв. в общественных движениях XIX в. была затро-

нута выступившим на второй день конференции *А. Новаком* (Краков–Варшава). Его доклад был посвящен деятельности “Товарищества Литвы и Польской Руси” в эмиграции 1830–1850-х годов. Докладчик отметил, что членами товарищества, представлявшего исторические провинции Речи Посполитой, были *А. Мицкевич*, *Ю. Словацкий*, *И. Лелевель*, близок к организации был и *Ф. Шопен*, хотя формально не мог войти в нее, так как происходил из земель Короны. Задачей товарищества было изучение истории восстания 1830–1831 гг. в Литве и пропаганда единства Литвы и Польши. Однако, несмотря на представительный состав, товариществу так и не удалось образовать “литовскую фракцию в составе эмиграции”, что и стало, как заключил *А. Новак*, причиной распада самой организации. В докладе, таким образом, была выявлена весьма существенная тенденция польской общественной жизни и национального сознания первой половины XIX в., связанная, с одной стороны, с преодолением литовской обособленности, автономного сословного статуса литовской шляхты, а с другой – с формированием самосознания единой польской гражданской нации, самосознания принципиально отличного от сословного земского патриотизма дворянства отдельных провинций шляхетской Речи Посполитой.

Следующий наиболее значительный, как тематически, так и по числу сделанных докладов, круг проблем, рассмотренных на конференции, был связан с историей общественных организаций в России и в Польше XIX – начала XX в. Начало было положено докладами *С.М. Фалькович* (Москва) и *Я.Н. Щанова* (Москва). При этом в первом случае на материалах донесений полиции были прослежены первые проявления самостоятельной общественной инициативы и генезис общественных организаций в Королевстве Польском в 1815–1830 гг. Во втором – была дана широкая картина и проанализирована сложная структура общественных организаций, объединений и союзов в России второй половины XIX – начала XX в. Таким образом, зарождавшиеся в первой трети XIX в. тен-

денции получили свое логическое развитие. Собственно, эта основополагающая линия стала в других докладах предметом детального рассмотрения и анализа применительно уже к отдельным организациям, направлениям общественной деятельности, регионам. В указанных докладах и в последующей дискуссии нашли отражение не только общие закономерности, но и местные особенности проявления общественной активности.

Выделяя региональный аспект, хотелось бы указать на доклады *В. Сливовской* (Варшава) и *Я. Трынковского* (Варшава) об организациях взаимопомощи польских ссыльных в Сибири в XIX в.; *И.И. Шарифжанова* (Казань) о просветительской и благотворительной деятельности поляков в Казани в начале XX в.; *О. Горбачевой* (Минск) об акциях польского духовенства, направленных на поддержку народных школ в Белоруссии в XIX в.

К региональной проблематике примыкал ряд докладов, посвященных отдельным организациям. Так *Л. Михальска-Браха* (Кельцы) рассмотрела историю становления и деятельности во второй половине XIX в. во Львове организации ветеранов-участников освободительного движения. *Я. Трынковский* (Варшава) сделал доклад о корпорации польского студенчества Дерптского университета. Феномен “Дерптской Польши”, основанной в 1828 г., состоял, по словам докладчика, в том, что она объединяла выходцев из всех земель прежней Речи Посполитой, как шляхту, так и лиц других сословий, и отнюдь не только поляков и католиков. Польское землячество в Дерптском университете действовало открыто (хотя и не было узаконено), в то время как другие польские общественные организации были запрещены и подвергались преследованию. Существенно и то, как подчеркивал *Я. Трынковский*, что землячество способствовало “полонизации” своих членов, т.е. формированию у них патриотического сознания, представлений о внесословном гражданском равенстве и соответствующих этических принципов.

В целом региональная проблематика в совокупности с докладами об от-

дельных организациях, что отмечалось в дискуссии, позволила как путем сравнительного анализа выявить закономерности становления общественных организаций, характерные для России и Польши, так и рассмотреть их региональные особенности. Выступавшие подчеркивали, что возникавшие общественные организации служили узловыми элементами формирования новых общественных институтов и социальной среды гражданского общества.

Особое место в работе конференции было уделено проблеме формирования в России и Польше национальной интеллигенции, что являлось одним из важнейших социальных процессов при переходе от сословной организации общества к социальной структуре Нового времени. Сам этот процесс был тесно связан с новыми явлениями общественной самоорганизации или, говоря условно, – “социальной повседневности”. Последнему аспекту был посвящен доклад *М. Мициньской* (Варшава), исследовавшей социальную среду в многообразии возникающих неформальных общественных связей, в которой после восстания 1863 г. проходило становление новой польской интеллигенции. В центре внимания автора – буржуазная городская среда и ее воздействие на интеллектуальную жизнь польского общества, на формирование новых этических и эстетических норм и представлений. Эта же проблема была рассмотрена и в уже упомянутом выше докладе *И.И. Шарифжанова*, указавшего, в частности, на связь в начале XX в. общественного движения интеллигенции с решением экономических и социальных задач, а также на “политическое звучание” общественной деятельности накануне революции в России. О формировании национальной интеллигенции говорил и *Г. Кживец* (Варшава), посвятивший свой доклад кружкам самообразования 1870–1880-х годов в Польше. В центре его внимания было “поколение молодых и непокорных”, пришедших на арену общественной деятельности после восстания 1863 г. Согласно представлениям польских национальных демократов, в этот период, – отмечал доклад-

чик, – “новых поляков”, способных продолжить традиции освободительного движения, могла сформировать только система национального образования. В известном смысле, в условиях официальной политики русификации, проводимой царскими властями, эту задачу взяли на себя кружки самообразования, которые действовали не только в Королевстве Польском, но и в Литве, и в других областях прежней Речи Посполитой.

Важное место в работе конференции занимали проблемы отдельных направлений общественной деятельности. Так о формах общественной поддержки студенчества, высшей школы и научных исследований в XIX–XX вв. говорил *Л. Заитовт* (Варшава) в докладе об истории Кассы Мяновского. *В. Цабан* и *И. Красиньска* (Кельцы) посвятили свой доклад польским обществам трезвости в середине и второй половине XIX в. В нем, как и в последовавшей дискуссии, были рассмотрены общие черты и особенности аналогичных организаций в России и в Польше. Докладчики отмечали, что на польских землях трезвенническое движение возглавляли представители духовенства, пропагандировавшие идею согласия между крестьянами и землевладельцами на заключительном этапе разрешения крестьянского вопроса. Выступившие в дискуссии в то же время подчеркивали, что общества трезвости в России носили, напротив, в большей степени оппозиционный характер.

Значительный интерес вызвал доклад *С. Веха* (Кельцы) о деятельности добровольных пожарных дружин в Польше во второй половине XIX – начале XX в. и об отношении к этим объединениям российских властей. Докладчик показал, что этот тип общественных организаций сформировался в городской среде и, следовательно, в большей степени соответствовал буржуазному укладу общественной жизни. Вместе с тем дружины объединяли людей различного социального положения, что способствовало их значительному общественному влиянию в широких слоях городского населения. Как показал *С. Вех*, деятельность общественных организаций пожарной охраны выходила за рамки

борьбы с огнем, что вызывало озабоченность полиции и официальных властей, опасавшихся их связей с освободительным движением. Они сыграли важную роль, став одним из элементов формирования новых органов власти в период восстановления независимости Польши.

Заключительные доклады хронологически относились к межвоенному периоду, когда в результате революции 1917 г. в России история наших народов кардинально изменила характер развития. Для Советской России доминирующей стала стратегия мировой революции, о чем говорила *Н.С. Лебедева* (Москва), для Польши – курс на восстановление и строительство национального государства. Эти две противостоявшие друг другу тенденции существенным образом повлияли на характер советско-польских отношений. Испытали это влияние и общественные движения в наших странах, оказавшись под воздействием двух противоположных государственно-политических и общественных систем. Вместе с тем, как показал *З. Опацкый* (Гданьск) в докладе “Сообщество россиян в Вильно в межвоенное двадцатилетие. Формы организации, общественная и культурная деятельность”, в этот период сохранились лучшие традиции предшествующей эпохи.

Подводя итоги конференции, сопредседатели Комиссии историков России и Польши *В. Сливовска* и *В.К. Волков* отметили, что заслушанные доклады и проведенная дискуссия стимулируют дальнейшие исследования, в частности изучение истории кооперативного движения, объединений ветеранов, научных обществ, по истории региональных центров общественной активности. Актуальность таких исследований, их значение для российско-польского научного сотрудничества не вызывают сомнений, ибо они обусловлены общей задачей наших народов по формированию свободного гражданского общества.

## Литературный процесс в странах Центральной и Юго-Восточной Европы на рубеже XX–XXI веков (“круглый стол” в Институте славяноведения РАН)

В декабре 2003 г. в рамках Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН “История, языки и литературы славянских народов в мировом социокультурном контексте” в Институте славяноведения РАН прошел “круглый стол”, посвященный анализу новых тенденций в литературах стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Участники “круглого стола”, сотрудники группы по изучению современных литератур ЦЮВЕ, на этот раз рассматривали перемены, происходящие в литературном развитии региона в самые последние годы, т.е. процессы, являющиеся реакцией уже не столько на факт разрыва с тоталитарным прошлым, сколько на его последствия, реальность посттоталитарного бытия, свободы, преподнесшей немало неожиданностей и сюрпризов в том числе и писателям, многие из которых внесли в свое время немалый вклад в это освобождение.

Ситуации в чешской литературе на пороге нового века был посвящен доклад С.А. Шерлаимовой. С “бархатной революцией” ноября 1989 г., отметила она в своем выступлении, в чешской литературе завершился период доминирования социалистического реализма и разделения литературы на официальную, эмигрантскую и самиздат. Резко изменился сам характер литературной жизни, исчезла цензура, возникло множество частных издательств, распался прежний Союз писателей и образовались новые писательские организации; на прилавки книжных магазинов обрушился поток прежде запрещенной альтернативной литературы и переводных произведений самого разного рода. Но в этот период не происходит ни ожидавшегося объединения трех ветвей литературы, ни освобождения художест-

венного творчества от идеологии. Из литературных жанров наиболее значимую роль безусловно играет роман. Рыночный успех имеет массовая продукция, отечественная и переводная: детективы, фантастика, “женские романы”. В области серьезной литературы на первый план выдвигается документалистика, в частности новый тип автобиографического романа (Л. Вацулик, З. Заплетал и др.), а также различные варианты постмодернизма (И. Кратохвил, Д. Годрова, И. Топол и др.). Споры в критике идут главным образом вокруг отдельных произведений, при этом нередко бурные дискуссии, в том числе и по поводу таких ведущих авторов, как М. Кундера, Д. Годрова, популярный у широкого читателя М. Вивег. К началу XXI в. наблюдается известная “усталость” читателей и значительной части критиков от изоциренных текстов постмодернизма. От этого определения дистанцируется не только М. Кундера, который скептически относился к данному течению уже в 1980-е годы, но и Д. Годрова, не говоря уже о М. Вивеге, которого критика поначалу тоже зачисляла в постмодернисты. Наблюдается снижение обличительного накала по отношению к предшествующему периоду, все чаще авторами поднимаются злободневные вопросы современной общественной и политической жизни, например, в романе М. Вивега “Лучшие годы с Вацлавом Клаусом” или в “Дневнике депутата парламента” молодого писателя М. Урбана, который критически переосмысливает опыт постмодернизма. В целом, хотя литература имеет в современном обществе меньший вес, чем это было прежде, все же неверно было бы говорить о ее кризисе – скорее, это ситуация

поиска, которая позволяет не терять надежды на движение вперед.

*Ю.В. Богданов* в своем докладе анализировал проблему прощания с прошлым в современной словацкой литературе и критике. Кратковременная эйфория, сопровождавшая ноябрьские события 1989 г. в Словакии, как говорилось в его выступлении, не успела воплотиться в развернутые художественные произведения. Отрицание коммунистического прошлого вскоре приобрело здесь форму отрицания общей с чехами социалистической государственности. Споры по поводу возникновения, формирования и ориентации суверенной Словацкой Республики раскололи в 1990-е годы общество и литературу. Тем острее на протяжении последнего десятилетия стала ощущаться проблематика самокритичного переосмысления прошлого, восстановления полноты национальной традиции с ее позитивными и негативными проявлениями. Процесс ее художественного и литературно-критического освоения представителями разных поколений чрезвычайно характерен для состояния современной литературной жизни Словакии.

По мнению *Л.Ф. Широковой*, также посвятившей свое выступление словацкой литературе, ее потерям и обретениям на рубеже XX–XXI вв., на состояние словацкой культуры и литературы этого времени во многом повлияли общественно-политические факторы (“бархатная революция”, политическая борьба 1990-х годов, переоценка исторических этапов и фигур и т. д.). Не менее существенными, однако, оказались и факторы самого литературного развития, в том числе смена поколений – уход из жизни зрелых мастеров (В. Минача, Р. Слободы, В. Шикулы), появление множества новых имен (П. Ранкова, Р. Олоса, М. Гворецкого и др.).

Как отметил в докладе о венгерской литературе рубежа тысячелетий *Ю.П. Гусев*, бум постмодернизма, наступивший после краха социалистической системы, сейчас, спустя почти полтора десятилетия эйфории от ничем не ограниченной эстетической свободы, сменился определенным перенасыщением. Постмодернистские игры как таковые

перестают вызывать у читателя интерес. Самоцельность изысков все больше сменяется серьезными поисками новых конструктивных решений в области формы и образности. Писатели “соревнуются” прежде всего в откровенности изображения человеческих отношений, в выявлении парадоксальных ситуаций и конфликтов, скрытых нюансов. В прозе (как было показано на примере творчества Ш. Тара и ряда других авторов) эти процессы более осязаемы, в поэзии – более размыты.

*В.Т. Среда* посвятил свое выступление иному, не менее важному для нас аспекту литературного процесса, – изданию, переводу и восприятию венгерской литературы в России на рубеже веков (1998–2003). Как было отмечено в докладе, после длительного, почти десятилетнего перерыва в издании произведений венгерских авторов в нашей стране, когда преемственность интереса к этой прежде достаточно популярной в России литературе поддерживалась лишь усилиями журнала “Иностранная литература”, венгерская словесность вновь начала постепенно завоевывать внимание издателей, читателей, критиков. В своем выступлении автор попытался проследить, как изменились за это время представления российского читателя и критика о литературе Венгрии, проанализировать проблемы рецепции ее новым поколением и дальнейшие перспективы ее российского “инобытия”.

*И.Е. Адельгейм* в докладе “Прикосновение к судьбе. Герой польской прозы после 1989 г.” отметила, что в 1990-е годы польская проза выстраивает новую по сравнению с периодом ПНР модель биографии – негероической, негротескной, частной. Отдельная судьба осмысливается как одна из многих версий истории народа. Герой-повествователь при этом очень часто автобиографичен (проза Я. Бачака, О. Токарчук, А. Стасюка, М. Гретковской, И. Филипяк, Н. Герке, А. Юревича, П. Хюлле, Ст. Хвина и др.).

После 1989 г., как отмечалось в докладе, “польскость” практически перестала быть для большинства литературных персонажей главным критерием самоидентификации, что заставило



литературу по-новому рассмотреть проблему Дома. Взаимопроникновение ощущений свободы и несвободы, укоренности и неукоренности – одна из главных и интереснейших черт молодой польской прозы этого периода. Ощущение чуждости оказывается свойственным не только эмигранту или переселенцу, а те, в свою очередь, далеко не всегда ощущают себя чужаками. Мотив геополитического изгнания постепенно замещается темой экзистенциальной чуждости, а отъезд воспринимается как шанс скрыться под маской анонимности. Опыт эмиграции используется для поиска адекватного художественного языка, способного передать проявляющуюся сквозь внешние обстоятельства пребывания в чужой среде неоднозначность, множественность реальности вообще. Свобода же героя польской прозы 1990-х годов обусловлена, в первую очередь, осознанием возможности не связывать себя эмоционально ни с каким пространством. Ощущение чуждости может объясняться не только личной неспособностью укорениться на новом месте, но и тем, что родители героя прибыли туда, где он родился, “издалека”. Приютом, своего рода “метафизическим домом” для такого персонажа становится и собственная память, и память предков, и, наконец, позиция “принципиальной” неукоренности, которая представляет собой новое явление в польской прозе, не в последнюю очередь связанное с постмодернистским мировосприятием.

Я и “другой” – также характерный ракурс новейшей польской прозы. Распространенности получил персонаж, чуждый окружению и этим для него привлекательный. Чуждость может быть обусловлена национальностью (проза А. Болецкой, П. Хюлле, Ст. Хвина, Р. Грена и др.), провинциальностью, социальным положением (творчество Т. Трызны, Я. Рудницкого), возрастом (у героев И. Филипяк, О. Токарчук), парапсихологическими способностями (в произведениях О. Токарчук, П. Хюлле), положением эмигранта (у И. Филипяк, М. Гретковской, З. Рудзкой) и пр. Осознание возможности и права одного человека быть непохожим на другого оказывается по-

рой ключевым опытом взросления (проза П. Хюлле).

Сущность свободы и дома порой выворачивается наизнанку: дом оказывается источником насилия, отсюда – мотив свободы бездомности и свободы тюрьмы как избавления от перенасыщенной всевозможными обязательствами современной жизни, протест против непрерывного движения. В то же время некоторые персонажи одержимы болезненным поиском дома, отсюда – построение утопического пространства и расцвет “прозы малых родин”.

*О.В. Цыбенко* в докладе “Метаморфозы польской деревенской прозы на рубеже XX–XXI вв.” осветила “поздний” период творчества корифея данного течения Ю. Ковальца (стихи, сборник рассказов “Хлеб”, повесть “Арфа горцев”), характеризующийся расширением философской проблематики. Здесь же шла речь об “итоге итогов” деревенского течения в творчестве В. Мысливского – романе “Горизонт” (с эволюцией от деревенской тематики к познанию универсальности человеческой судьбы) и “очарованности” большим городом Э. Редлинского, представителя гротескно-иронического стиля в деревенской прозе 1970–1980-х годов, и разработке им “ню-йоркской темы” в романе “Крысополяки”, поразившего читателей разочарованностью в современной цивилизации. Примечательным показалось докладчику и возможное влияние поэтики некоторых авторов деревенского течения (Т. Новака) на молодую прозу 1990-х – начала 2000-х годов (“Правек и другие времена” О. Токарчук, “Галицийские рассказы”) А. Стасюка.)

Выступление *М.Б. Проскурниной* касалось развития литературоведения Македонии на рубеже веков. К 1980-м годам македонская наука о литературе вошла в период “зрелости”, в ней (во взаимодействии с различными литературно-критическими направлениями всей Югославии) сформировалась концепция исторического развития македонской литературы, обсуждалась проблема периодизации национального литературного процесса, исследовалась эволюция отдельных жанров, выходили монографические работы, посвященные творче-

ству македонских писателей, а также издавались сборники произведений ведущих литературных критиков – “Македонский роман 1952–1982” (1983) Х. Георгиевско-го, “Избранные работы” (1970) Д. Митрева, “Критика Митрева” (1984) М. Друговаца, “О новых тенденциях” (1984) Д. Коцевского, “Опыт синтеза: литературные параллели” (1989) Т. Белчева и др. Своеобразным итогом развития литературоведения в 1970–1980-е годы стали работы М. Друговаца “История македонской литературы XX века” (1990) и В. Смилевского “Аспекты македонской литературы 1945–1985 гг.” (1993).

Яркие книги последнего времени, достойные упоминания, написали Е. Шелева (“Открытое письмо”, 2003) и Р. Алагёзовский (“Обвиненные в постмодернизме”, 2003).

На современном этапе, отметила М.Б. Проскурнина, македонское литературоведение активно осваивает новые методы анализа художественного произведения, охотно изучает новейшие литературные концепции. В то же время достаточно большое внимание исследователи национального литературного процесса уделяют сегодня истории македонской словесности, особенностям ее становления, специфике ее связей с другими славянскими литературами, прежде всего с русской литературой.

“Жив ли постмодернизм в XXI веке?” – так обозначила тему своего выступления исследовательница хорватской литературы Г.Я. Ильина. Ответить на этот вопрос она попыталась на примере творчества одного из ведущих современных хорватских писателей Неделько Фабрио (р. в 1937 г.). Он отдал дань постмодернизму в исторических романах 1980-х годов – “Уроки жизни” (1985) и “Волосы Вероники” (1989), составивших две части “Адриатической трилогии”. В 1995 г. оба романа были инсценированы и поставлены в хорватских театрах. Третья часть трилогии “Тримерон. История одной хорватской любви”, вышедшая в 2002 г., была названа лучшим хорватским романом рубежа веков. Эти произведения были отмечены несколькими национальными литературными премиями – В. Назора, К.Ш. Джальского, М. Крлежи, их автор

получил международную Гердеровскую премию (Гамбург), которая присуждается тем, кто является примером “в деле сохранения и расширения европейской культурной среды под флагом миролюбивого взаимопонимания между народами”. Хотя третий роман трилогии тематически продолжает два предыдущих (это роман о большой любви и одновременно историческая повесть о Хорватии с конца XIX до конца XX в., включая и войну 1991–1995 гг.), художественная структура этого произведения значительно трансформировалась. Эстетическое обновление хорватской исторической прозы происходит на путях адаптации постмодернистских художественных приемов и их синтезирования с опытом традиционного национального романа с присущим ему “просветительским кодом”.

Н.Н. Пономарева в докладе “Болгарская литература после 1989 года” отметила, что к концу 80-х годов XX в. в болгарской литературе начала ощущаться известная “усталость” (исчерпанность) доминировавшей в 1970–1980-е годы нравственной проблематики, ряда тем (“деревенская”, антифашистская и др.). Возникла также необходимость обновления поэтики. После слома партийно-государственного диктата в стране для литературы открылись широкие перспективы – она обрела свободу слова. Стали доступнее архивы, во всяком случае литературные, что способствовало подъему документальной литературы разного рода, в том числе и художественно-документальной. Однако в собственно художественной литературе возможность свободного творчества ожидаемых высоких результатов не принесла. Писатели, особенно старшего поколения, не сумели быстро адаптироваться к изменившейся ситуации. Более молодое поколение писателей направило свои усилия на освоение постмодернизма, но и здесь не достигло значимых успехов. Сложная ситуация создалась и в болгарской критике, в которой проявился опасный синдром так называемого нового прочтения – огульное отрицание заслуг всей послевоенной литературы. Тем не менее, несмотря на очевидные трудности переходного периода, к началу XXI столетия положение

ние в болгарской литературе постепенно выправляется.

*Н.Н. Старикова* в докладе “Миллениум – время подводить итоги” рассмотрела словенскую литературу минувшего века сквозь призму словенского литературоведения XXI столетия. Начало нового тысячелетия в Словении ознаменовалось выходом в свет целого ряда крупных работ, комплексно исследующих национальный литературный процесс в XX в. К наиболее репрезентативным можно отнести коллективный труд “Словенская литература III” (2001), в котором приняли участие представители академической (СНИ) и университетской (Любляна, Марибор) литературоведческой науки. В нем впервые после двухтомной истории послевоенной литературы “Словенская литература 1945–65” (1967) сделана попытка проанализировать развитие национальной словесности с 1945 по 2000 г. включительно. В 2002 г. был переиздан “Обзор словенской литературы” Я. Коса, в котором разделы о современной литературе доведены до 2000 г., вышла в свет заключительная книга двухтомного исследования Ф. Задравца “Словенский роман XX века”, где рассмотрены произведения словенских прозаиков, сгруппированные по проблемно-тематическому признаку, а также книга Х. Глушич “Словенская проза во второй половине XX века”, представившая читателю портреты тридцати двух современных прозаиков, в том числе писателей эмиграции и зарубежья. Наконец, в 2003 г. в Институте словенской литературы и литературоведческих исследований был издан сборник статей “Как писать историю литературы сегодня?”, авторы которого в весьма дискуссионной манере высказываются о методологических аспектах и критериях подхода к истории национальной словесности, предлагая, в частности, вовсе отказаться от социологического дискурса в пользу “чистой” поэтики.

Особую роль мифологии в развитии культуры и самосознания румынского народа проанализировал *М.В. Фридман*. На протяжении долгих десятилетий в духовной жизни Румынии можно было проследить процессы зарождения и по-

следующего заката такого множества мнимых мифов и замены их новыми, противоположными, что взгляд исследователя в конечном счете начинает различать глянец ложной мифологизации, лежащий на многих исторических и художественных реалиях ушедшего века. Начавшийся после 1990 г. процесс демифологизации литературы, “санации” читательского сознания предполагал с самого начала ответ на вопрос “куда идет литература?”: так были озаглавлены многие литературоведческие статьи первых послереволюционных лет.

Постепенно становилось ясно, что в полемике между теми специалистами, которые предлагали начинать с азов, и теми, кто считал необходимым положить начало новому, “освободительному этапу”, история оказалась на стороне вторых. Позади остался век бесчисленных попыток создать новую эстетическую реальность путем ложной мифологизации общественно-политической и социальной жизни. Предстояло любой ценой преодолеть это гиблое противоречие между историей и мифом. Необходимо было объяснить и развенчать языком гласности природу засилия ложного литературного мифологизма, освободить от него подлинные ценности, решительно противостоять как попыткам огульного отрицания достижений минувших десятилетий, так и потугам вживлять в плоть культуры новые экстремистские псевдомифы.

Конечно, в круг новых проблем входила и задача выяснения правды о так называемом писательском соглашательстве, “конформизме” крупных художников слова. Но это была лишь одна – и не самая важная – часть широкого комплекса решений. А на самом деле проблема эта затмила на страницах литературной прессы все остальные. Реально вырисовывалась опасность лишить историю литературы замечательных произведений М. Садовяну, Т. Аргези, К. Петреску, Дж. Кэлинеску, М. Преда, Н. Стэнеску. Вместе с тем, на горизонте культурной жизни все ярче сияли имена М. Элиаде, Э. Чорана и других бывших сподвижников главарей правозэкстремистских движений 1930-х годов.

Впрочем, конкретные проявления литературного процесса в последние годы столетия, отметил М.В. Фридман, убедительно подтверждают тот факт, что экстремистские тенденции преодолены. Об этом свидетельствует и обилие дневников и мемуаров, увидевших свет в эти годы: И. Иоанид “Тюрьма наша насущная” (1991–1994), П. Пандря “Воспоминания валашского мандарина” (1990), Б. Зильбер “Действующее лицо в процессе Пэтрэшкану” (1997), Н. Штайнхарт “Дневник счастья” (1990), И.Д. Сырбу “Дневник журналиста без журнала” и др. Читатель получил произведения М. Динеску, О. Палера, К. Нойки и многих других, публикация которых в эпоху Чаушеску была немислима. Спросом у читателей пользуются также книги Д. Кушнаренку, М. Неделчу, С. Преды, К. Стана и большого отряда молодых, пришедших в литературу после событий 1989 г. Переиздаются произведения румынских авангардистов, переосмысливаются книги постмодернистов. Множатся переводы

лучших творений мировой литературы, в том числе русской.

Вышел ряд произведений о “золотой эре”, в которых не присутствует образ “двуглавого диктатора”, но зато со всей наглядностью воплощены страдания трудовых масс, доведенных до нищенского существования. В них без труда прочитывается мысль о том, что экстремизм, диктатура могут существовать только при условии поддержки со стороны части населения. XX век в румынской литературе, начало которого протекало под сенью мифов “сеятельства”, завершается все более тщательной “прополкой” горьких плодов, посеянных экстремизмом и нанесших народу тяжкий духовный урон. Накопленные на протяжении долгих веков духовные ценности, упорное сопротивление здоровых творческих сил диктатуре вернули стране свободу, задыхавшуюся под грузом мертворожденных псевдомифов.

© 2005 г. *В.Т. Серета*

Славяноведение, № 1

## Юбилейные Абрамцевские чтения

5 октября 2003 г. в музее-усадьбе Абрамцево состоялись 20-е юбилейные чтения, посвященные 160-летию приобретения этой усадьбы писателем С.Т. Аксаковым. Впоследствии, как известно, владельцем имения стал меценат-промышленник С.И. Мамонтов, основавший здесь художественный кружок. Научные конференции в Абрамцево регулярно проводятся с 1983 г. Первоначально они назывались Аксаковскими чтениями, а с 1992 г. к ним прибавились по четным годам Мамонтовские чтения. Последнее время в музее проводятся Абрамцевские чтения.

Ввиду ремонта основного здания усадьбы, конференция проходила на так называемой Поленовской даче, где была устроена специальная выставка “Он про-

сиял и погас”, посвященная 180-летию со дня рождения И.С. Аксакова.

Директор музея *И.А. Рыбаков* в своем вступительном слове подвел некоторые итоги проводившихся в Абрамцево конференций. За 20 лет на них было прочитано более 80 докладов. Выступали литературоведы, историки, писатели, музейные работники из разных городов России и ближнего зарубежья. Материалы конференций публиковались в специальных сборниках “Абрамцево. Материалы и исследования”, вышло уже десять выпусков. Чтения способствовали возбуждению интереса к творчеству С.Т. Аксакова, его знаменитых сыновей-славянофилов и их окружения. В 1991 г. был открыт музей писателя в Уфе, учреждению которого во многом

содействовали сотрудники Абрамцево. Сочинения С.Т. Аксакова (“Семейная хроника”, “Детские годы Багрова-внука”) стали изучать в школе. Продвигается проект создания кинофильма по последнему произведению писателя. Музей выпускает альманах “Отчина”, второй выпуск которого, посвященный мамонтовскому кружку, был предложен участникам конференции.

С докладом “Общомышления С.Т. Аксакова: русское общество сквозь призму эстетических идей” выступила д-р филол. наук *Е.И. Анненкова* (Петербург). Она отметила, что “русское направление” занимало не слишком большое место в мемуарах писателя и сочла целесообразным сравнить его восприятие с отзывом о России французского путешественника, литератора А. де Кюстина (“Россия в 1839”) и воспоминаниями императора Николая I. По мнению докладчицы, С.Т. Аксаков наблюдал смену alexandrovской и николаевской эпох как бы со стороны, находя в них разные проявления русской идеи. В alexandrovской эпохе он видел обновление, движение, ожидание, в николаевской – завершенность и определенность общественной и государственной жизни. В отличие от С.Т. Аксакова, де Кюстин и Николай I, по мнению *Е.И. Анненковой*, проявляли однотипный подход к оценке России (“страна варваров и рабов” и “упорядоченная” страна), но с разными потенциалами.

Д-р ист. наук *Л.П. Лантева* (Москва) прочитала доклад “Связи И.С. Аксакова с западнославянскими учеными (по данным переписки)”. Отметив первоочередной интерес славянофилов в русле их доктрины к южным славянам и относительную изученность этого вопроса, она обратила внимание на малоисследованный аспект связей И.С. Аксакова с западными славянами. Было подчеркнуто, что среди деятелей чешского национального возрождения существовал небольшой круг русофилов, в котором В. Ганка, филолог, “открыватель”, как тогда считалось, древнечешских рукописей, бесспорно занимал первое место. Посетив Прагу в 1857 г., И.С. Аксаков сделал запись в знаменитом альбоме В. Ганки и потом состоял с ним в пере-

писке. Примечательно, что к одному из писем В. Ганке И.С. Аксаков приложил программы изданий “Паруса” и “Русской беседы”, где концентрированно изложены его взгляды по славянскому вопросу с упором на необходимость духовного единения славян. Автор показала, что и в антиподе России – католической Польше И.С. Аксаков нашел себе единомышленников в лице историка славянского права В. Мацевского, преследуемого на родине за свое “славянофильство”. В “Русской беседе” была опубликована одна из статей польского историка, предпринимались попытки содействовать распространению его труда по истории славянских законодательств в России.

В докладе канд. ист. наук *Е.Н. Цимбаевой* (Москва) характеризовалась русская театральная критика первой половины XIX в. и та роль, которую сыграл С.Т. Аксаков в борьбе сторонников и противников классицизма на русской сцене.

Научную программу конференции завершил канд. филол. наук *В.Н. Греков* (Москва), проанализировавший неизвестные, найденные им в архиве, публицистические выступления И.С. Аксакова в защиту свободы слова в связи с судебным разбирательством по поводу готовящегося закрытия газет “Москва” и “Русь”.

С воспоминаниями о прошедших в Абрамцево чтениях выступили *С.Н. Лычков* (ученый секретарь музея), *И.А. Рыбаков* (директор музея), а также *М.Ю. Досталь*, *Е.И. Анненкова*, *В.Е. Куршев*, *В.О. Волков*, одна из сотрудниц музея в Мураново и др. Участники и гости конференции выразили единодушное желание дальнейших успехов в работе Абрамцево музея, сохранения здесь приятной творческой атмосферы.

После конференции состоялся концерт музыкантов и солистов московской Школы искусств им. С.И. Мамонтова и гитариста, исполнителя романсов на стихи русских классиков А. Данилова. Была проведена небольшая экскурсия по усадьбе Абрамцево.



## К юбилею Григория Куприяновича Венедиктова

13 ноября 2004 г. исполняется 75 лет крупнейшему российскому болгаристу-языковеду, ведущему научному сотруднику Института славяноведения РАН, доктору филологических наук Григорию Куприяновичу Венедиктову. Его перу принадлежит более двухсот научных работ. Многочисленные труды Григория Куприяновича и особенно книги “Из истории современного болгарского литературного языка” (София, 1981), “Болгарский литературный язык эпохи Возрождения” (М., 1990), “Българистични студии” (“Болгаристические исследования”) (София, 1990) snискали Григорию Куприяновичу Венедиктову заслуженную известность и неоспоримый авторитет в научных кругах гуманитарного направления.

Первое и, может быть, самое главное, о чем следует вспомнить по случаю юбилея Григория Куприяновича, ученого, одаренного незаурядным талантом и достигшего самой высокой квалификации, – это огромный, многодесятилетний труд по сбору и исследованию обширнейших языковых, культурологических и исторических (главным образом, архивных) материалов. На их основе рождались смелые теоретические построения Г.К. Венедиктова, в комплексном анализе этих данных – на стыке лингвистики, социолингвистики, истории славянских народов, истории культуры и науки – гипотезы получали подтверждения и убедительные доказательства. Доскональная и добросовестная обработка богатейшего фактического материала соединены в работах Григория Куприяновича с глубиной и изумительной ясностью научной мысли, безукоризненной, академической строгостью творческого почерка. Эти особенности сообщают вкладу Г.К. Венедиктова в славистику непреходящее значение.

Г.К. Венедиктов учился в Ленинградском университете, получил серьезную подготовку в ходе восьмимесячной учебной практики при Софийском университете, а затем в качестве аспиранта кафедры славянской филологии ЛГУ. В 1956 г. он переехал в Москву и всю последующую научную деятельность связал с Институтом славяноведения (и балканистики) АН СССР/РАН.

С первых лет работы Г.К. Венедиктова обозначились три крупных области его научных интересов, которые он будет затем разрабатывать всю жизнь в тех или иных аспектах: история болгарского языка, болгарская диалектология и история науки. Первая же его крупная работа по грамматике болгарского языка – кандидатская диссертация “Глаголы движения в болгарском языке”, защищенная в 1963 г., – была написана на материале как современного болгарского языка, так и языка памятников письменности XVII–XVIII вв. Собранный Г.К. Венедиктовым в самом начале научных занятий диалектный материал был использован для “Атласа болгарских говоров СССР” (М., 1952), а позже он стал одним из составителей “Болгарского диалектологического атласа”, изданного Институтом славяноведения совместно с Болгарской академией наук (первый том – 1964 г.).

1960-е годы отмечены первыми успехами Г.К. Венедиктова в архивных разысканиях: он обнаруживает несколько новоболгарских текстов XVIII–XIX вв., в том числе и не известный ранее список “Истории славяноболгарской” Паисия Хиландарского, материалы по истории литуанистики в России, публикация которых вызвала немалый интерес специалистов, несколько десятков писем И. Юшки (Юшкевича) академику И.И. Срезневскому.

Много сил и времени отдавал Г.К. Венедиктов славянской библиографии и критике, в течение ряда лет составляя аннотированную библиографию для журнала “Rocznik slawistyczny”.

В 1960-х годах начинается еще одно весьма трудоемкое направление научной деятельности Григория Куприяновича – редакторская работа. С 1961 г. он становится членом редколлегии КСИС (Краткие сообщения Института славяноведения), со дня основания в 1964 г. журнала “Советское славяноведение” (“Славяноведение”) – заведующим отделом языкознания, а затем и

членом редколлегии этого издания, ведет большую редакторскую работу в редколлегиях различных изданий, в том числе в серии “Славянское и балканское языкознание”. С 1998 г. Г.К. Венедиктов входит в состав редакционного совета журнала “Български език” (Болгария).

Одной из важнейших тем научных исследований Г.К. Венедиктова, на разработку которой ушло не одно десятилетие, является изучение формирования современного болгарского литературного языка в эпоху национального возрождения. В рамках этой темы сугубо лингвистический материал исследуется ученым в комплексе со сложными вопросами национально-культурного возрождения болгар в XIX в. Результаты исследований диалектной основы современного болгарского литературного языка, его нормирования, лексических новообразований, дискуссий о языке в среде болгарской интеллигенции того времени и роли различных культурных центров, истории книгопечатания в эпоху болгарского возрождения, начальной истории болгарской драматургии, вклада русских ученых в развитие болгарской лексикографии и многих других смежных проблем стали предметом его книг, разделов в коллективных трудах и многочисленных статей, опубликованных в нашей стране и за рубежом.

С этой проблематикой связано и изучение Г.К. Венедиктовым жизни и трудов первого отечественного болгариста Ю.И. Венелина (1802–1839) – ученого, о котором до исследований Григория Куприяновича мы знали непростительно мало. Неоценимым вкладом в изучение русско-болгарских научных связей явилась подготовка к изданию рукописи “Грамматики нынешнего болгарского наречия” Венелина – первой грамматики болгарского языка. Опубликованная в 1997 г. со вступительной статьей Г.К. Венедиктова, Грамматика получила широкий отклик научной общественности в России и Болгарии и была издана Софийским университетом в болгарском переводе под редакцией проф. П. Пашова.

Нельзя оставить без упоминания и научно-организаторскую деятельность Григория Куприяновича, которой он всегда отдает много сил и энергии. С редкой ответственностью выполнял он обязанности ученого секретаря сектора и ученого секретаря отдела, члена ученого совета Института славяноведения, ученого секретаря, а теперь члена специализированного совета по защите докторских диссертаций при Институте славяноведения, члена экспертной комиссии по филологии, заместителя председателя секции по культуре Советско-болгарской комиссии по сотрудничеству в области общественных наук. Григорий Куприянович часто принимает самое энергичное участие в организации конференций и других научных мероприятий.

За свою многостороннюю научную деятельность Григорий Куприянович Венедиктов неоднократно удостоивался академических и правительственных отличий. Он был отмечен Почетной грамотой Президиума АН СССР (1974) и Почетной грамотой Президиума РАН (1999), награжден медалью “За доблестный труд” (1970), медалью “Ветеран труда” (1984), медалью “В память 850-летия Москвы” (1997).

Признание научных заслуг Григория Куприяновича зарубежными коллегами выразилось в избрании его почетным доктором Софийского университета (1998). Имеет Григорий Куприянович немало и болгарских наград, в том числе государственных: трижды он был награжден Почетными грамотами Министерства культуры Болгарии (1994, 1996, 2002) и большой настольной медалью (2002), орденом Кирилла и Мефодия 2-й степени, медалью “25 лет народной власти”, Почетной грамотой Общества филологов-болгаристов Болгарии, Почетным знаком Софийского университета с синей лентой. В 2002 г. Григорий Куприянович удостоился одной из высших государственных наград Болгарии – ордена “Мадарски коник” (“Мадарский всадник”), который ему был вручен Президентом Болгарии.

В настоящее время Г.К. Венедиктов продолжает неустанно трудиться над воплощением обширных замыслов: руководит одной из основных плановых тем Института “Литературные языки в контексте культуры славян на разных этапах их развития”, является ведущим исполнителем работ по проекту международного сотрудничества Российской и Болгарской академий наук, готовит к печати книгу “Ученое путешествие Ю.И. Венелина”. Своего часа ждут и обширные, собранные за десятилетия упорных поисков, новые, носящие во многом уникальный характер языковые и исторические материалы.

Исключительных оценок заслуживает личность Григория Куприяновича. Коллеги знают его как человека высокой порядочности и благородства. Внешние скромность и сдержанность, мягкость и деликатность не мешают быть ему очень неуступчивым и принципиальным в тех делах, где есть спрос на последовательность и честность. Нравственный облик Григория Куприяновича Венедиктова безупречен, а сам он служит образцом достойного существования в науке и человеческом сообществе.

© 2005 г. В.С. Ефимова, А.Ф. Журавлев

Редколлегия и редакция журнала “Славяноведение” желают юбиляру здоровья, новых творческих сил и свершений.

## CONTENTS

### ARTICLES

<i>Vinogradov V.N.</i> (Moscow). Was the Crimean War “a regrettable stupidity” for Allies?.....	3
<i>Dulichenko A.D.</i> (Tartu). Carpathian Rusyns Today: Some Ethno-Linguistic Aspects.....	20

### COMMUNICATIONS

<i>Marney L.P.</i> (Moscow). Features of the Russian and Polish Kingdom’ Merchant Policy in 1820ies .....	30
<i>Lapteva L.P.</i> (Moscow). I.S. Aksakov’s Contacts with the Western-Slavic Scholars (Based on Correspondence).....	44
<i>Zhuk I.V.</i> (Grodno). Invariability of Beginnings: from the Observations on the Metric Factor of Early XX Century Byelorussian Prose.....	51
<i>Savelyeva A.A.</i> (Moscow). Question of Autothematism in Karol Irzykowski’s “Chimera” .....	60
<i>Zhelitsky B.J., Zhelitsky Ch.B.</i> (Moscow). New Hungarian Center for Slavic Studies and Subcarpatian Rusyns History and Culture.....	67
<i>Kovtun E.N.</i> (Moscow). Fundamental Work on Western and South ern Slavic Literatures .....	88

### REVIEW-ARTICLES AND REVIEWS

<i>Chavanova O.V.</i> Magyar leveleskönyv. I–II. köt. ....	95
<i>Zadorozhnyuk E.G.</i> Foromovani stalinskeho mocenskeho systemu. K problemu tzv. sebedestrukce bolševiku. 1928–1939 .....	97
<i>Sofronova L.A.</i> История культур славянских народов .....	100
<i>Gerchikova I.A.</i> Словацкая литература: XX век.....	104

### SCHOLARLY LIFE

<i>Kolin A., Strykalin A.S.</i> Two-Labial Commission of Russian and Romanian Historians.....	107
<i>Nosov B.V.</i> The Conference “Social Movements in Russia and Poland (Until the II World War)”	114



<i>Sereda V.T.</i> Literary Process in the States of Central and South-Eastern Europe on the Boundary of XX and XXI Centuries (the Round Table in the Institute for Slavic Studies, RAS).....	118
<i>Dostal' M.Yu.</i> Abramtsevo Anniversary Readings .....	123

ANNIVERSARIES

Toward the Anniversary of Gregory Kuprianovich Venediktov .....	125
---	-----

---

Сдано в набор 07.10.2004 Подписано в печать 30.11.2004 Формат бумаги 70 × 100<sup>1</sup>/<sub>16</sub>  
Офсетная печать. Усл.печ.л. 10,4 Усл.кр.-отт. 5,9 тыс. Уч.изд.л. 12,0 Бум.л. 4,0  
Тираж 562 экз. Зак. 8932

---

Учредители: Российская академия наук, Институт славяноведения РАН

Адрес издателя: 117997, Москва, Профсоюзная ул., 90

Адрес редакции: 119991, Москва, Ленинский проспект, 32а. Телефон 938-01-20

E-mail: [juslav@rambler.ru](mailto:juslav@rambler.ru)

Оригинал-макет подготовлен МАИК "Наука/Интерпериодика"

Отпечатано в ППП "Типография "Наука", 121099, Москва, Шубинский пер., 6

**Индекс 70891**